

ЛЮДМИЛА
ПЕТРУШЕВСКАЯ



НИКОМУ
НЕ НУЖНА.
СВОБОДНА



Annotation

Перед читателем разворачивается история девочки, которая принимает жизнь как она есть, без вопросов и обид. К этому приучили ее обстоятельства детства — нет родителей (хотя она не сирота), голод и нищета и то, что ей приходится в одиночку защищаться в мире детей, а этот мир столь же беспощаден, как и мир взрослых. Однако то, что ребенок никому не нужен, дает ему, как ни странно, право на самостоятельность. На свободу жить в бедности. Иногда на гибель. Но всегда на полную независимость, даже от властей. Надеемся, что читатель знает, как сложилась в дальнейшем жизнь этой девочки — в будущем прозаика, драматурга, поэта, художника, композитора и певицы, лауреата многих премий, известной в мире писательницы Людмилы Стефановны Петрушевской.

- Людмила Петрушевская



- Маленькая девочка из «Метрополя»

- Начало
 - Вегера
 - Яковлевы
 - Начало войны
 - Семейные обстоятельства
 - Куйбышев
 - Куйбышев. Способы существования
 - Как меня спасли
 - Цирк Дурова
 - В поисках еды
 - Куклы
 - Победа
 - Одо
 - Язык придворных
 - Большой театр
 - Вниз по лестнице
 - Литературные лежания
 - Мои концерты. Зеленая кофта
 - Портрет
 - История маленького матросика
 - Другая жизнь
 - «Метрополь»
 - Леночка Вегер
 - Мамаша

- Лагерь
- Улица Чехова. Дедушка Коля
- Попытка уместиться
- Детский дом
- Я хочу жить

○ Рассказы

- Никому не нужна
- Подснежник
- Незрелые ягоды крыжовника
- Горилла
- Имя книги
- Умирающая лебедь
- Саныч
- Как цветок на заре
- Вилы в бок
- Находка
- Музыка ада
- Вместо интервью

Людмила Петрушевская **Никому не нужна. Свободна** **(сборник)**

© Петрушевская Л., текст, 2017

© ООО «Издательство „Э“», 2017

Маленькая девочка из «Метрополя»

Когда я думаю о человеческом роде, то представляю его себе не в виде генеалогического древа с ветками. Род выглядит как лес, он просматривается далеко — и в виде цепочки людей-деревьев, которые держатся за руки. Почему-то так. Там, в тумане времен и веков, стоят они, предыдущие поколения, многорукие деревья, и каждый предок соединен ветвями с одной своей стороны с родителями, а с другой стороны с детьми. И каждый и отец и одновременно сын, и сам по себе единственный в мире. И каждая из них — дитя своей матери и мать своей дочери или сына и в то же время отдельное, не похожее ни на кого создание. И каждый един в трех лицах — дитя, родитель и личность.

Пока тот, в центре, силен, он поддерживает обе стороны, и тех, кто стоит перед ним, и тех, кто встал потом. И этот центр перемещается со столетиями. Человек слабеет, его сила переходит к следующему поколению. Его ум, его знания уходят с ним, их не передашь, а качества могут перейти к потомкам — упорство, даже зверское упрямство во вред себе; сила духа; убеждение, что еда должна быть спартанской, а вода для обливания холодной; обжорство в праздники; несогласие с властями; верность своей позиции во вред себе и ближним; сентиментальность, любовь к музыке и поэзии и вздорность по пустякам; свирепая честность и полная невозможность прийти куда-нибудь вовремя; чистота помыслов, стремление всем помочь и ненависть к соседям; любовь к тишине и громкость повседневного крика; умение жить без денег и безумные траты на подарки; полный тарарам в доме и жесткие требования к домашним убирать за собой — и безграничная любовь к малышам, особенно когда они спят во всей своей красе.

Моя прабабушка Ася умерла от сепсиса в тридцать семь лет, оставив шестерых детей. Ее муж, мой прадед Илья Сергеевич, врач, пошел к реке. Он считал себя виновным в смерти жены. Пятеро побежали за ним, догнали на берегу и повисли на отце, остановили. Маленькую несла старшая, Вера. Когда маму Асю хоронили, дочь Валечка восьми лет шла за отцом как тень, ступая в его следы и бормоча про себя: «Я всю жизнь буду идти по твоим стопам». Они почти все стали подпольщиками, дед был большевик, борец за права угнетенных. Работал он обычно доктором при фабричном управлении, а к нему стекалась хворая беднота из поселка и деревень. И он вообще никогда не брал денег за лечение. Жил только на жалованье. Принципиально принимал всех угнетенных, а должен был обслуживать только

персонал. Поэтому, как правило, его увольняли быстро, и работу он находил преимущественно на эпидемиях, на холере и чуме — туда брали всех врачей, даже ссыльных.

Я, как только начала говорить, назвала его Дедя.

Я родилась в гостинице «Метрополь», это был второй Дом Советов, гостиничные номера там занимали старые большевики, в том числе мой прадед, Дедя, Илья Сергеевич Вегер, член РСДРП с 1898 года. Там же жила, после развода с мужем, Н. Ф. Яковлевым, дочь И. С. Вегера, моя бабушка, Яковлева Валентина Ильинична, член партии с 1912 года, с дочерьми Верой Николаевной и Валентиной Николаевной, моей будущей мамой. Все три, как полагается в сказках, были удивительные красавицы. За бабушкой Вале́й бегал юный Маяковский, но она предпочла студента Колю Яковлева. Их дочь Вава (Вера) выросла и стала самой красивой девушкой (белозубая улыбка, косы, синие глаза) Бронетанковой академии, а моя мама с четырнадцати лет, будучи очень высокой девочкой, выходя на улицу, подвергалась постоянным провожаниям кавалеров, в особенности солдат, причем она им простодушно отвечала на вопросы как зовут и где живешь, но не говорила сколько лет, и это огорчало ее мать и сестру. В семье мою маму звали Люлей, она была младшей, и ее всегда считали ребенком. Хотя она упорно училась и прочитала горы книг и в школе, и на своем литературном факультете. На ее письменном столе стояли пирамиды томов (по одному только Средневековью было три огромные хрестоматии). Она настолько серьезно занималась литературой, что воспринимала обычное чтение как профанацию. Про племянницу третьей жены своего деда (Деди), которая в самую голодуху частенько приходила в «Метрополь» к Деду за книгами, Люля говорила: «Ну конечно, тургеневская девушка на скамейке у пруда с романом в руках». На самом деле племянница оставалась ужинать.

Литература для молоденькой Люли была объектом изучения! Втайне же она любила раннего Горького.

Но так вышло, что Люля, наивная, серьезная и совершенно невинная девушка, забеременела в день своего рождения, 23 августа 1937 года, на даче в Серебряном Бору.

Я в детстве слышала своими ушами, что она сказала нашей пузатой, на восьмом месяце, дворничихе Гране, которая пожаловалась, что долго не могла забеременеть. Мы стояли в воротах, и мама засмеялась, показывая на меня: «А я вот с первого раза...»

В то лето они жили в Серебряном Бору.

Это была государственная дача старшего бабушкиного брата, Владимира Ильича Вегера, старого большевика, руководителя партийной ячейки РСДРП на Красной Пресне и одного из

организаторов знаменитого краснопресненского восстания с баррикадами 1905 года. Его партийная кличка была Поволжец.

(Многие проезжают между станциями метро «Баррикадная» и «Улица 1905 года». И никто не знает, что все это дела моего двоюродного деда Владимира Ильича, все названия, эти вывороченные камни мостовой и баррикады, все эти будущие скульптуры типа «Булыжник — орудие пролетариата». До сих пор московский транспорт тарахтит по специально оставленному историческому булыжнику между площадью Восстания и метро «Баррикадная».)

Поволжец, кстати, принял в партию пятнадцатилетнего подростка Маяковского, после чего тот загремел в Бутырскую тюрьму и впоследствии из партии вышел.

Маяковский ходил в дом к Владимиру Ильичу — Поволжцу и там познакомился с его младшими сестрами Верой и Валей Вегер. В Валечку он влюбился немедленно.

Бытовала наша семейная легенда, что Маяковский с Бурлюком из этого дома вышли в блузах, Маяковский в знаменитой желтой, Бурлюк в лиловой. Мама мне рассказывала, что блузы мальчики взяли у сестер — но девушки были маленькие, а Маяковский огромный. Сомневаюсь. Может быть, ребята просто для смеха их примерили? Правда и то, что блузы тогда курсистки носили пышные, со сборками.

Моя мама также говорила, что в тридцатом году она и ее мать ехали в трамвае и столкнулись там с Маяковским. Бабушка сказала Маяковскому: «Это моя дочь». Вид у поэта был какой-то изнуренный, усталый. Шел последний год его жизни.

* * *

В 1937 году Владимир Ильич Вегер-Поволжец выстроил себе загородный дом на сорок втором километре по Казанской дороге в кооперативе научных работников, а государственную дачу в Серебряном Бору на лето отдал сестре Валентине (моей будущей бабушке) и ее дочкам.

Весной этого проклятого года произошли страшные события. В мае был арестован и подвергся допросам бабушкин брат Женя Вегер, член Политбюро Украины и секретарь Одесского обкома партии, была арестована и шла к расстрелу его сестра Леночка Вегер (она долгие годы руководила секретариатом у Калинина). Был арестован и казнен муж Аси, бабушкиной сестры, а саму Асю увели почти год спустя, она много лет провела в ГУЛАГе. Расстрельный приговор тогда мягко называли «десять лет без

права переписки».

Остальным приходилось ждать внезапных гостей. Это была пытка.

Каждую ночь бабушка вроде бы улавливала шум: как будто машина останавливается где-то вдали, открывается калитка и очень явственно слышатся шаги по гравии...

В те годы именно ночью приходили за людьми, опечатывали квартиры, и больше никто и никогда не видел этих людей.

Каждую ночь кто-то явственно шел от их калитки к дому. Скрипел гравий. Но в дом не заходили. Надо было ждать. Спать стало невозможно. Выйти посмотреть она боялась.

Она пошла к психиатру. Он сказал ей: «Оставайтесь у нас, здесь вы будете в безопасности». Она осталась. Видимо, это ее и спасло. Ее так и не арестовали.

Моя бабушка была исключительно умная и прозорливая женщина. Она знала, что забирают всех — кроме психов со справкой. Молодая жена Жени Вегера, Соланж Корпачевская, пианистка и красавица, наполовину француженка, после ареста мужа была также схвачена — но в камере от ночных допросов она сошла с ума, и ее освободили. Когда Дедя к ней пришел, она беспрерывно рыдала, сидела на кровати седая в свои молодые годы, черная, истощенная, и бессвязно кричала. Дед был врач. Но он не остался у ее изголовья, а развернулся и без слов ушел. Не знаю почему. Может быть, он сам внутри себя так же хотел кричать все это время, но сдерживался. А она, безумная, была свободна в своих воплях. Женя был его надеждой, его гордостью (со старшим, Володей, он не общался со времен революции), Леночка — младшей любимейшей дочерью. Возможно, что человеческих сил вынести этот крик не было.

Дальнейшая судьба невестки была ужасной: мать Соланж забрала ее и ее маленького сына, увезла на Украину. Началась война, пришли немцы. Соланж с сыном и матерью вместе с колонной евреев из гетто были заживо закопаны в землю.

Но это произошло позже.

В описываемое время, летом 1937 года, Соланж еще, видимо, сидела. От Леночки, Жени и мужа Аси не поступало никаких сведений (та самая формулировка, «без права переписки»). Женю и Леночку арестовали 23 и 24 мая 1937 года. Леночку расстреляли 3 сентября. Женю 21 ноября.

Мне недавно сказали, что тех, кто держался дольше, не признавался в шпионаже, не подписывал бумагу, мучили больше и казнили позже.

А моя будущая семья в это страшное лето скрылась в Серебряном Бору. Иногда люди просто уезжали из своего дома, и

посланные из НКВД их не находили.

Моя мама рассказывала, что Стефан (мой предстоящий отец, тоже, как и она, студент ИФЛИ, но не литфака, а философского факультета) приезжал к ней в то лето на дачу в Серебряный Бор... Она не уточняла, в какое время это происходило и где они виделись. Судя по всему, вечером и не в доме.

Позже я узнала, что мой отец был родом из Николаевской губернии, село Верхние Рогачики, и в его большой семье (это мне сказали уже другие люди) многие страдали туберкулезом. Он приехал в Москву больной, без ничего, как Ломоносов, поступил на рабфак на правах сельского бедняка с выдающимися способностями, а затем в ИФЛИ. Своего угла не было. К врачам он, скорее всего, не обращался. Может быть, боялся, что положат в больницу, придется потерять год. Жил и жил, покашливал. Он был высокий, кудрявый, симпатичный. Моя мама, усердная студентка литературного факультета, была красивая, сдержанная, серьезная, в жизни не понимала ровно ничего и вечно сидела над книгами. Кроме того, семья этой милой особы жила в самом лучшем доме Москвы, в «Метрополе». Мало того, ее мать раньше работала в Кремле, а потом в комитете по науке. А сестра училась в Бронетанковой академии. Поэтому мой будущий отец их, вероятно, сильно боялся.

Так что не исключено, что ночами, таясь от мамы и сестры своей любимой девушки, Стефан, видимо, как тать в ночи, шел от последнего троллейбуса к калитке, потом по гравию пробирался к ее окну и вызывал на свидание. Так я думаю. Причем эти шаги никогда не заканчивались стуком в дверь!

Бабушка была совершенно здорова психически.

Такова моя версия тех событий.

Во всяком случае, шаги были, но моих родных не забрали на Лубянку.

Короче, я родилась 26 мая 1938 года, примерно через девять месяцев после маминого дня рождения.

Но меня не опечатали в квартире, как это случалось с младенцами арестованных, и я росла под боком у бабушки под звучание великих текстов русской литературы, но об этом ниже.

* * *

А примерно два года спустя после описываемых событий мои родные вернулись домой и увидели, что дверь, ведущая в их комнаты, все-таки опечатана. То есть бабушка шла впереди, стала

открывать дверь, не открыла, повернулась и навсегда покинула эту квартиру, не говоря ни слова...

А шедшая сзади Вава, в свою очередь, подошла к двери и увидела, что там на ручках намотана проволока, а на проволоке висит пломба.

Может быть, если бы они вернулись домой раньше, их бы уже увезли. Но они опоздали как всегда. Наша семья опаздывает вечно, из поколения в поколение.

Из их дома, из «Метрополя», исчезло уже много народу.

Так Вава простилась с соседкой через стенку, фамилию которой она не помнила точно, вроде Калыгина. Она была секретарь обкома и часто приезжала в Москву в свою комнату в «Метрополе», всегда с командой из нескольких мужчин-помощников.

В тот раз Вава вошла в квартиру и увидела соседку в сопровождении двоих: один в форме шел впереди, другой, в штатском, сзади нее.

Вава радостно с ней поздоровалась. Калыгина отвернулась и сжала рот.

Вава сказала матери:

— Анну Степановну провели между двоих.

Моя бабушка даже не кивнула.

* * *

Без вещей, книг, потеряв мебель, одеяла и посуду, не говоря о картинах, они пришли к Деде, к Илье Сергеевичу Вегеру, в соседний подъезд «Метрополя», и поселились у него.

А я запомнила ту нашу, предыдущую квартиру в «Метрополе» — две смежные комнаты с дверью посередине, над дверью картина: на изумрудном фоне женская головка в профиль с изогнутой шеей и ярко-рыжими волосами в виде шлема.

Мама подтвердила потом, что слева от двери наверху висел портрет моей прабабки со стороны деда, как я теперь знаю, Александры Константиновны Яковлевой, урожденной Андреевич-Андреевской, помещицы хутора Булгарин Области Войска Донского. У нее в имении, по семейной легенде, висел в рамке документ о том, что ее предок, Андреевич, при дворе польского короля Жигмунта Августа получил дворянство. Вроде дата стояла, шестнадцатый век. По семейным преданиям, братья Андреевичи, запорожские казаки, служили у короля Жигмунта конюшими. И один из них остановил на скаку понесшего королевского коня, после чего ему и было даровано шляхетство, т. е. дворянство. Его потомок, Яков Максимович Андреевич, известен тем, что был декабристом, состоял членом тайного общества. Яков на каторге проявил себя как художник-любитель, и сохранился его портрет работы Н. А. Бестужева, сделанный в Петровском заводе (позднейшая копия поступила в московский Музей частных коллекций). Яков Максимович Андреевич изображен с кистями в руке. Он содержался в Читинском остроге, затем в Петровском заводе. Его перевели на поселение в Верхнеудинск, когда он уже был безнадежно болен психически. Умер Яков Андреевич 39 лет от роду, присидев 14 лет.

Второй Андреевич, Гордей, был арестован по подозрению в участии в тайном обществе, содержался в Петропавловской крепости, но был освобожден.

* * *

Портрет Александры Константиновны над дверью нашей квартиры принадлежал кисти Валентина Александровича Яковлева, художника из группы «Московский салон» — он приходился двоюродным братом моему дедушке, Николаю Феофановичу Яковлеву.

Валентин умер молодым в 1919 году. Сейчас работы В. А. Яковлева хранятся в Воронежском и Омском музеях. Недавно была выставка в галерее «Элизиум», куда собрали немногие уцелевшие живописные вещи Валентина Яковлева. У нас сохранилась только картина «Амур и Психея», живопись маслом на картоне. Я под ней выросла, это единственное, не считая полки книг, что осталось у нас от бабушки Коли. Став профессором, он собирал редкие книги, первоиздания Пушкина, например. Все это

исчезло.

Моя бабушка вышла замуж за моего дедушку юной, да и дед был совсем молодой, он окончил университет, когда у него уже родились две дочери.

Баба Шура, моя пробабка, жила на Остоженке, в Лопухинском переулке, в особняке с садом. Когда ее сын Коля привел молодую жену Валю в свой дом, где по барскому обычаю на сундуке в сенях спала прислуга, то не привыкшая к таким нравам юная большевичка Валентина вообще несколько дней безвылазно сидела на своей половине от неловкости — поскольку первое, с чем она столкнулась на новом месте, это был казачок, слуга, который, в темной прихожей соскочив с сундука как нечистая сила, стремглав бросился ей в ноги: как потом выяснилось, стаскивать ботинки.

Баба Шура, помещица, ночь-заполночь играла с гостями в карты, не было гостей — играла с прислугой. С мужем, Феофаном Васильевичем, она разъехалась, у него была собственная клиника (уха-горла-носа), где он и жил со своей помощницей-медиком как главный врач, отдав больницу советской власти. Сын четы Яковлевых, мой дед Коля, сначала учился в Первой гимназии на Волхонке, 16, где инспектором и преподавателем литературы был А. Ф. Луговской, любимый учитель дедушки. Затем дед поступил в Московский университет и ездил (по семейной легенде) на своем авто и играл на скрипке. Его сестра Мария, разумеется, росла красавицей, она собиралась в артистки. Брат Павел стал офицером (в Гражданскую он ушел с Белой гвардией в Турцию и кончил свои дни, в преклонном уже возрасте, таксистом в Париже, Маруся его там навещала).

Опять-таки, по семейной легенде, дед мой, поехав перед революцией по ученым делам в Германию, привез жене оттуда переданный русскими чемодан, не поинтересовавшись, что в нем. А там содержался миллион партийных денег. Вот так! А не какой-то там plombированный вагон.

Обе девочки Яковлевых, Вера и Валя, родились там же, в доме на Остоженке. Они научились вылезать в садик прямо через окно.

Когда молодые супруги переселялись на верхний этаж дома на Народной улице, что на Таганке, то мать завела обеих малышей в пустую квартиру, а сама встала в дверях, чтобы ожидать грузчиков, тащивших мебель по лестнице. Окна по летнему времени были открыты.

Старшая, Вава, которой было три годика, подбежала к двери и настойчиво стала тянуть мать за подол. Та не могла уйти с лестницы, надо было указывать грузчикам, куда что нести. Но Вава не уступала, тянула за юбку и кричала. Мама Валя наконец

сдалась и пошла за ней. И что же она увидела? Малышка Люля стояла на подоконнике и собиралась вылезти из окна на улицу (с пятого-то этажа), как привыкла в старом доме.

Так Вава спасла Люле (и мне) жизнь.

Чудом сохранились дневники того времени друга дедушки, поэта и этнографа, востоковеда, исследователя Дагестана Евгения Шиллинга. Как поэт он печатался в знаменитом журнале «Маковец», участвовал в сборниках стихов вместе с Велимиром Хлебниковым.

Он был глубоко религиозным человеком, посвятил одну из своих пьес-фантазмагорий Павлу Флоренскому, вступил с ним в переписку и впоследствии навещал его в Сергиевом Посаде вплоть до его ареста. Сам Е. Шиллинг был арестован в 1932 году как собиратель Музея народов СССР, начиналось «дело музейщиков». Но оно как-то заглохло, НКВД переключилось на более эффектное разбирательство, дело Промпартии. Евгения Шиллинга отпустили.

Эти дневники он писал раз в год, в ноябре, в форме писем Другу. По его формулировке, дальнему Другу — может быть, ангелу-хранителю. Ни разу он не назвал его по имени. Но обращался к нему как-то по-свойски, например, «Друже».

Данная дневниковая запись относится к 26 ноября 1917 года, как раз когда Яковлевы с маленькими дочерьми переехали на Народную улицу. Стоял ноябрь. Женя Шиллинг навестил Колю и Валю Яковлевых. Вот запись:

«Был у обеденьки. Служил архиерей Кирилл Тамбовский.

Среди дня сумерки. Дома прилег... Пришлось рано или поздно выходить на дальнюю дорогу и, рано ли поздно ли, прибыть к некоей чете с чадами. У них протек весь вечер. Приняли хорошо, поздоровались, отрезали кусок пирога и для забавы инсценировали начало Антонидиной арии из „Жизни за царя“ — „Налетели злые коршуны“... Причем меня заставили играть роль того, на кого „налетели“, а сами исполняли „коршунов“. Вышло очень мило благодаря простодушию инициаторов картины и их музыкальности. И дальше все пошло своим чередом: все прибрано, сновала прислуга, горела лампа и освещала поющую женщину. Маленькие девочки слушают мать. Сразу видно, что поет словесница — и напев, и текст будто бы подлинные. Пора спать, а девочка просит: „Мама, расскажи про детей земли!“ Сразу видно, что это была „литературная“ сказка или, вернее, „новейшая“ сказка. И на том и на другом отпечаток модерна с художественным уровнем (говорю лишь для данного случая) пуговиц модного дамского пальто. А как уютно: лампа, женщина, девочки... Совсем детство. Чувствую, ресницу гнетет

серая нежная паутинка: надо кончать. Где-то поет розовая молочная пенка; в сердце вспыхивают глазки. Как уютно: если окинуть все тихим взглядом, но не всматриваться, не вслушиваться. Дети земли, какой ужас! Модерные соринки и штришки! Как коротко и тесно. Нельзя побыть, войти и остаться. Нарисованные декорации комнаты с изображением стола, стульев, лампы. Какими они будут непонятными, эти девочки. У них будут лбы и, может быть, это будут лбы Медуз. Что таится за их глазами? М. б., представление какого-то „общего блага“ в связи с забавной формой маминой муфты. Хорошо бы миру сему немножечко „сердечного тепла“, а то ведь за последнее время измаялся, в комнату не могу к людям войти — все кажется, у них ключья изо рта лезут. Все говорят, занимайтесь делом, что, мол, делаешь? Уроки даешь? Много энергии отнимает? Времени нет? Или: а ты был там-то и там-то? С кем? Дружок мой, не знаешь ли еще, между прочим, почему победители (здесь это так называемые „большевики“) кажутся людьми, пообедавшими два раза? Прости за ерунду, дальнего не было. Впрочем, было: ночью начал „Эликсир сатаны“ нашего общего друга Э.-Т.-А. Гофмана. Да, когда возвращался домой, лобызал в душе сандалии апостола Павла».

Он написал: «Какими они будут непонятными, эти девочки». Ему было двадцать пять лет. Моей бабушке, этой «поющей женщине», было двадцать три.

Евгению было неловко в этой семье. Его друг вступил в партию большевиков и участвовал в уличных боях с юнкерами... Со своими!

«Дважды пообедавшие» большевики. Так и напрашивается слово «победившие». Игра слов. Победа. Обед. Беда.

Мне как будто показали отрывок из фильма.

Мои тетя и мама, трех и полутора лет от роду, малышка Вава и крошечная Люля, стоят у стола под лампой и смотрят во все свои глазищи на красивого дядю из-под своих выпуклых лобиков...

Этот отрывок из дневника продиктовала мне замечательная художница Катя Григорьева-Шиллинг.

Однажды в гостях мы сидели рядом, нас представили друг другу. Я ей сказала, что у меня в детстве был друг дядя Миша с такой фамилией Шиллинг. И вдруг она ответила, что это, наверно, ее дядя! Потом выяснилось, что вообще мы жили с ней в одном подъезде! Потому что ее отец, Евгений Шиллинг, и мой дед были друзьями, и Шиллинг в 20-х годах, когда мой дед ушел

из семьи, пригласил его жить у них в квартире! А моя мама потом тоже там поселилась, после Куйбышева.

Языковед Яковлев и этнограф Шиллинг вместе ездили в экспедиции по Дагестану, мой дед Коля в шинели и с пистолетом, а Женя без ничего, с блокнотом (оба одинаково не от мира сего деятели).

Квартира № 37 принадлежала трем братьям Евгения: Константину, Николаю (оба они рано умерли) и Мише. Николай был женат на Натуле Реформатской, сестре А. А. Реформатского, известного филолога (тоже хорошего друга деда Коли).

В 20-х годах, когда квартиру Шиллингов на Малой Дмитровке, 29, «уплотняли», т. е. решили вселить в нее посторонних, Евгений Шиллинг пригласил к себе жить моего уже разведенного деда Николая Феофановича с его новой семьей, а сам переехал к матери этажом выше. Собственно, в одной из комнат квартиры братьев Шиллингов, в самой маленькой, в бывшей библиотеке, и протекала впоследствии наша с мамой жизнь (под столом).

Мой любимый детский друг был как раз дядя Миша Шиллинг, наш сосед, брат Евгения, врач-рентгенолог в поликлинике НКВД, в молодости мечтавший быть артистом. Перед нами с мамой он под хорошее настроение и под тра-ля-ля исполнял свой знаменитый танец с тросточкой и в котелке — абсолютно как Чарли Чаплин. К нему я заходила как в рай — в его чистую комнату с портьерами и напольными часами, со старинным абажуром над скатертью, а за ширмой стояла тумбочка с мраморным верхом и солдатская койка, заправленная по всем правилам. А в пустом шкафу висела военная форма. Дядя Миша иногда ходил по квартире в голубом теплом офицерском нижнем белье вместо пижамы и был очень элегантен.

Я мечтала, что, когда вырасту, у меня будет такой же квадратный стол со скатертью, напольные часы и абажур. И я буду есть ножом и вилкой и пользоваться салфеткой, как дядя Миша (а не из кастрюльки ложкой и не с газетки руками, и вытираться не рукавом и не ладонью).

Свой второй в жизни рассказ я написала о дяде Мише, но никогда не публиковала.

Он женился на тете Вале, рабочей сцены из Детского театра, доброй и приветливой, низкорослой, плечистой, с узким тазом и очень развитыми икрами, а лицом похожей на Марка Бернеса. Перед этим она много лет ходила к нему невидимкой, ее скрывала завеса тайны, и в эти вечера комната дяди Миши стояла запертой. Иногда ночью, выйдя в уборную, я включала там свет, и чья-то голая рука в панике, наобум высунувшись из двери

туалета, гасила его. Потом дядя Миша предъявил всем свою новую жену! Тетя Валя и дядя Миша всегда были довольны друг другом, веселы, неразлучны как близнецы и курили не переставая. Когда впоследствии у дяди Миши ампутировали обе ноги, жена выносила его во двор погулять на скамейку...

Одна из фамилий в моей пьесе «Три девушки в голубом» — Шиллинг. В его честь. Он единственный в доме был добр к нам с мамой.

Возвращаясь к жизни семьи Яковлевых, хочу добавить, что дед Коля укладывал дочерей спать своеобразно: садился между их кроватками и пел им старые казацкие песни («Течет реченька д' по песо-очику д' бережка-а разно-о-сит»). Казак он был с Дона. Я эту песню тоже по наследству пела детям.

Когда после революции начались голод и нищета, его мать, баба Шура, поехала за продуктами и вещами (по легенде, за драгоценностями) в свое имение на Дон и была на дороге расстреляна красноармейцами. Говорят, у нее хитростью стали выяснять, как она относится к белым и красным. Она не разобралась, растерялась и сказала правду. Там, на обочине, ее и закопали. Кто-то был с ней рядом, кто ее хоронил и кто передал нам эту историю.

А вот отрывок из статьи, написанной о ее сыне, моем деде профессоре Яковлеве, его учениками, профессорами Ф. Ашниным и В. Алпатовым:

«Дворянин, выпускник Московского университета, основатель Московского лингвистического кружка, в котором начал свой путь в науку Роман Яковсон, Яковлев в 1917 году ушел в революцию. А потом вернулся в науку, что можно было сделать только сдав партбилет. В 20-е годы он выступал в трех ролях: один из создателей структурной фонологии (Яковсон потом говорил, что Яковлев эти идеи, теорию фонем, выдвинул раньше, чем они с Николаем Трубецким); видный исследователь чеченского, ингушского, кабардинского и других языков; и лидер языкового строительства. В 1928 году ради научного конструирования новых алфавитов он предложил математическую формулу построения алфавита. Он начал переводить кавказские языки на латиницу, так как кириллица считалась языком колонизаторов. Им было составлено около 70 алфавитов».

Должна добавить, что латиницу в кавказских письменностях упразднил Сталин. Мировая революция, ради которой вводилась латиница, временно откладывалась. Надо было сначала расстрелять кое-кого у себя дома.

В статье упоминается академик Марр. Я в детстве довольно

часто слышала дома это имя. Дед всю жизнь боролся с Марром. Как говорится в статье, Н. Ф. Яковлев отстаивал «конструирование алфавитов от некомпетентного вмешательства марристов», делая это «в обстоятельствах господства ненаучного „нового учения о языке“ Марра...».

Но, сказано далее, «Яковлев в ряде случаев поддался марризму».

Короче говоря, когда Сталин опубликовал свою очередную эпохалку, антимарровскую брошюру «О марксизме в языкознании», дед Николай Феофанович, вечный и одинокий борец с Марром, «попытался хотя бы по некоторым пунктам спорить с вождем», как пишут исследователи.

Спорить с вождем...

Когда все были за Марра, дед воевал с ним. Когда против Марра выступил Сталин, Яковлев возразил «по некоторым пунктам».

Ну был в истории такой один Джордано Бруно. Боролся за правду, не предавал своих принципов.

Мой великий дед много лет просидел в психушке. Его забрала оттуда Вера Николаевна Яковлева, моя тетушка.

Когда в Москву в послесталинскую эпоху приехал знаменитый американский профессор Роман Яacobсон, он пытался встретиться со своим старым другом. Ему деликатно отказали. Не стали показывать деда, пощадили обоих.

Возвращаясь ко временам молодости моих Яковлевых: я ничего не знала о том, что дед был коммунистом и потом вышел из партии. В семье об этом не говорилось.

Но я прекрасно понимаю, под чьим влиянием он вступил в партию.

Сохранилась фотография, на которой летним днем, на лугу, в идиллической обстановке стоят Деда (Илья Сергеевич) и мой грядущий дед Коля Яковлев. Впереди моя будущая бабушка Валя. Рядом с нею с одной стороны старшая Вера, а с другой — подросток Леночка и, чуть постарше, Женя.

У девушек в волосах розы, в руках посохи — видимо, это загородная прогулка.

Деда стоит как-то воинственно. Как мне сказали, он не любил, когда его дочери выходили замуж. А тут явно к этому дело шло, учитывая несчастный вид Коли и лукавую улыбку молоденькой Валентины.

Это фотография, видимо, 1912 года.

Как не хотелось бы знать их будущее...

* * *

Удивительно, что я запомнила профиль с портрета расстрелянной бабы Шуры, исчезнувшего в лубянских хранилищах (скорее всего, из распределителя попавшего не в музей, а на стенку к кому-нибудь из «своих»). Портрета нет, а с него началась моя жизнь, т. е. началась моя память. Человек — это его память.

Помню, например, такое событие, что я учусь ходить вдоль дивана. Руками держусь за сиденье и не очень умело переставляю ноги. Дело происходит на дачной веранде, залитой вечерним солнцем. Я жмурюсь, мне весело. Я научилась ходить поздно, в годик, после длительного воспаления легких. Мне хорошо, я рада, и мама рада, что я хожу. Счастье связано с теплом, светом, зеленью и мамой. 1939 год.

* * *

И вот этот вид в «Метрополе» — я стою в огромной комнате, передо мной распахнутые двери в другую комнату, на стене портрет бабы Шуры с лебединой шеей и темно-красными волосами, а передо мной тазик. Мне кричат, чтобы я не наступила в него, осторожней! (Может быть, меня только что подержали над этим тазиком?)

* * *

...А вот я рухнула с сундука. Тесная, темноватая комната, заставленная вещами. Я разбила себе голову. Огромные озабоченные люди, их тени. Мы уже не дома. Это не наши две комнаты в «Метрополе». Мы у чужих. Нашу квартиру опечатали. Мы «скитаемся». Это слово из моей детской жизни.

Шрам у меня на виске у левой брови.

Начало войны

А начало бесперебойной череды событий, отложившихся в памяти, следует отнести к 1941 году, к началу войны. Мама меня несла в бомбоубежище, вниз в метро «Площадь Свердлова» ночью, и было очень весело, над головами творилось что-то праздничное, как при салюте: лучи прожекторов, белые столбы света, сходясь шатром, двигались и перекрещивались в темном небе (на самом деле шарили в поисках самолетов).

Я не хотела спускаться под землю, все задирала голову (я помню, как тянула шею), радовалась и требовала стоять. Но пришлось уйти вниз. Мы ночевали на станции метро, там в туннелях были уложены щиты. Мама несла с собой постоянную сумку с подстилкой. Мы располагались на твердых досках. Виднелась черная арка туннеля. Это было приключение!

В октябре 1941 года мы на товарняке уехали с Дедей, с моей мамой Люлей, с бабой Валею и моей тетей Вавой в эвакуацию в город Куйбышев (теперь это Самара).

По словам моей тетушки Веры Николаевны Яковлевой, всех отправляли из Москвы в эвакуацию очень настойчиво, особенно стариков и детей. Моя тетя поехала на вокзал, где уже находился приготовленный эшелон. Вышла на перрон, посмотрела. Там на сцепленных открытых платформах стояли новенькие троллейбусы. И сзади один грязный товарный вагон с раздвижной дверью. В нем на полу толстым слоем лежал какой-то порошок, может быть, мел. Тетушка Вава поняла, что в новенький троллейбус нас, членов семьи врагов народа, не посадят, и начала убирать в вагоне, сгребать порошок. На следующий день они пришли вместе с моей мамой Валентиной, уже вооруженные фанерками. Много часов сгребали мел. И когда все было чисто, привезли нас — Дедю, меня и мою бабушку Валю плюс скарб, главное в котором были одеяла. Стояли холода, был конец октября, начало морозов 1941 года. Наша семья постелила одеяло, закуталась в другие и просидела несколько суток на вокзале в таком состоянии. Потом, перед самым отходом поезда, к нам в уже чистый вагон вселился умный начальник эшелона с женой и ребенком шести лет. Он понял, что в щегольских троллейбусах будет лютый холод, и выбрал теплушку (хотя она тоже была ледяная).

Но нам повезло с ним — на первой же станции пробивной начальник приволок чугунную печку, похожую на невысокую бочку с трубой. Поскольку он явно подметил, что вдоль рельс был грядками насыпан бесплатный каменный уголь, видимо, для

паровоза. И добился печурки. На остановках взрослые прыгивали с высоты в снег и набирали угля, топили им эту бочку. Было не так холодно, к тому же на печке, рядом с трубой, кипели два чайника.

Это чувство уюта, когда из ничего, из черной пустоты вдруг чиркает спичка, зажигается огонек, вот кружка горячей воды, вот кусочек хлеба, подстилка для сна, пальто, чтобы укрыться, — это чувство всегда возникало, когда приходилось устраиваться на новом месте. Пусть будет только кружочек света, немножко тепла, покормить и укрыть малышей — и жизнь начинается! Начинается счастье. Меня никогда не пугали обстоятельства. Детки под боком, и уголок найдется. Вечная и главная игра жизни, свой дом.

Моя родина мала
Света свечки круг
В этом круге край стола
Вереница рук

Крошки хлебушка для птиц
Чай для стариков
Вереница детских лиц
Во веки веков

Я помню, что все время сидела у Деди на руках, внутри его волчьей шубы-дохи с шелковой подкладкой (узор на шелке был восточный, полосчатый), и смотрела, оставив окошечко для глаз, на огонь в открытой дверце печки. На пляшущее пламя можно ведь глядеть часами. Я жила в каком-то тепленьком домике, как любят устраиваться все дети. Дедя же из-за меня существовал на манер беременного кенгуру и выпускал меня только побегать.

Ночами поезд останавливался в степи. Пропускали военные эшелоны, идущие к Москве. Это ехали на фронт могучие сибирские полки в тулупах и с оружием, подкрепление. Свои, московские ополчения, не имели ни винтовок, ни теплой одежды, шинельки им выдали, на том конец, и интеллигенты, работяги, школьники, мелкие служащие массово гибли на бывших дачных рубежах. Начальству было не до них. В ноябре уже все замерзло, шел снег. Лютая зима приблизилась.

Меня иногда спускали из вагона далеко вниз, в сугробы, погулять на воздух и по естественным надобностям. Я помню, как мама, пользуясь новой обстановкой, дает мне из руки «пирожино» — какой-то кусочек булки. Видимо, я плохо ела. Но тут, глядя в

белые пространства под черным небом, я забеспокоилась, как бы предчувствуя будущее, и подобрала все «пирожино» с маминой руки. Всех заботило, что у меня начался туберкулез. Недавно у Деди от чахотки умер сын Люсик (меня в честь него назвали Люсик, так-то мое имя было Долорес, присвоено у очень популярной тогда Долорес Ибаррури, испанской революционерки, бежавшей в СССР. Нашли как назвать, «Долорес» означает «страдание»).

Семейные обстоятельства

У моего отца-студента с юности была открытая форма туберкулеза. Я уже упоминала, что многие из его семьи в селе Верхние Рогачики тоже болели, кто-то уже умер. Он, поселившись у мамы в «Метрополе», может быть, и не стал проверяться у врачей. А когда мама, уже беременная мною, стала кашлять кровью, всю семью обследовали. Далеко зашедший туберкулез нашли у Стефана. Моего бедного будущего отца положили в больницу, в доме всё облили дезинфекцией и запретили вытирать лужи. Бабушка похлопотала, чтобы ему сделали операцию, так называемый пневмоторакс. Операцию произвели успешно, Стефан Антонович прожил долгую плодотворную жизнь. Но тогда мой будущий отец обиделся, что его заподозрили в обмане, в сокрытии болезни, причем обиделся, видимо, на всю жизнь.

Ну что же, вся Москва перед войной болела ТБЦ. Заразиться можно было везде. Из лекарств был стрептоцид. Я почему-то помню, что он был белый и красный. Красным стрептоцитом (так произносилось) женщины красили волосы. За Вавой ухаживал тоже туберкулезный мальчик, и у Люли нашелся преданный друг Володя, находящийся в последней стадии ТБЦ. На собрании в ИФЛИ, в Институте философии, литературы и истории, где обсуждали мою беременную маму, «че эс», члена семьи врагов народа (и меня вместе с ней, мы всюду были неразлучны, в том числе и на допросе на Лубянке) — и где Стефан сделал публичное заявление, что он отказывается от связи с «че эс», этот Володя вдруг выступил и сказал, что тогда он готов жениться на Яковлевой. После собрания, однако, мой будущий папа быстро на нас с мамой женился. Как заметила мама, «его забрало за живое насчет Володи».

Однако мои родители вскоре расстались.

О, эти семейные тайны, о, непрощенные обиды! Эти письма, заявления! Замужества и женитьбы, разводы, разъезды, о, это молчание длиной в жизнь! О, нищие деньги, о, переполненные, перегороженные на клетушки квартиры, все эти эвакуации и проблемы возвращения, эти прописки, углы, квадратные метры! Эти в каждой семье возникающие беременности девочек-школьниц... О, еще большие тайны — рожденные и не взятые матерью, оставленные где-то дети... Брошенные семьей сироты, покинутые старики...

Эти сплетенные ветвями деревья должны были страшно страдать, когда ломались сучья — не говоря о горестях новых

побегов, отрубленных от родительского ствола, лишенных подпорки. Маленькие деревца, оставленные на произвол судьбы... Засохшие старые пни.

Ни слова больше.

На одной станции Дедя вынул меня из своей дохи, передал женщинам, сошел на перрон и исчез — а это он поехал впереди нашего эшелона на пассажирском поезде. Добрался быстро. В Куйбышеве ему, как старому большевику и герою, дали отдельный номер в гостинице (он в Гражданскую войну был вроде бы комиссаром чуть ли не корпуса в Туркестане, работал со знаменитым Фурмановым, позднейшим автором «Чапаева»). Так что мы приехали к уже получившему жилье Деде, который, как опытный военный командир, знал, что впереди гарнизона идут квартиры. Он вселил нас в узенькую комнатку, где помещались две кровати одна за другой и маленький столик. Я спала у Деди под мышкой, а Баба с дочерьми ютились втроем на койке и приставных стульях.

Дедя, несмотря на обстановку, каждый день обтирался холодной водой (миска воды и кусок полотна), а также делал гимнастику по системе Мюллера. Бабушка же, его дочь, почти не вставала. Сказывалась контузия после взрыва в Московском комитете партии.

В Куйбышев перемещалось постепенно столичное руководство. Туда вывозили также Большой театр и цирк Дурова, а также завод шарикоподшипников. На этот завод затем была направлена моя мама, сколачивать ящики в тарном цехе, а Ваву зачислили туда же как инженера с неоконченным техническим образованием. Мама еще подрабатывала, читала по госпиталям стихи Симонова, а также писала в газету «Волжская коммуна» об искусстве. На городском вокзале висела картина, где в заснеженной степи встречались волк и замерзающий фашист. Страшная, надо сказать, была вещь! Я ее почему-то прекрасно помню, видимо, мы потом сидели на вокзале не раз, когда приходилось «скитаться». Окоченевший фашист вызывал сложные ощущения, но никак не удовлетворенное чувство мести. Скорее ужас. Мама написала об этой картине целый очерк.

Деде затем дали две смежно-изолированные комнаты в гарнизонном доме около Окружного дома офицеров, угол Красноармейской и Фрунзенской. Несмотря на то что дети деда были расстреляны, в партии его почитали и даже как-то снабжали. Какие-то преданные сторонники и ученики привозили ему еду на дом. Все было более-менее нормально, я помню даже виноград на тарелочке. Я частенько торчала у Деди, он меня кормил и воспитывал. К примеру, помню его фразу «хлеб с хлебом не едят», когда я к вермишели попросила еще и хлебушка.

Но когда Дедя уехал обратно в Москву, то и маме одновременно пришел вызов во вновь организованный ГИТИС, Институт театрального искусства, она посылала туда документы на поступление, и вот ее вызвали. Мама оставила учебу после памятного собрания в ИФЛИ, находясь в так называемом декрете, т. е. в отпуске по родам. Я не знаю, была ли она исключена, во всяком случае, неизвестно на что надеясь, мама послала в ГИТИС свои документы, сообщив, что окончила четыре курса литфака. Она скрывала тогда правду о родственниках — врагах народа (она скрывала это всю свою жизнь, вплоть до XX съезда партии. И не любила говорить о прошлом, всячески избегала слова «репрессии». Когда она уже лежала последний год, я сказала: «Давай что-нибудь вспомним хорошее из твоей жизни». Она не ответила ничего, только слегка шевельнула пальцами, как бы отбрасывая что-то).

Но все-таки хорошее было, вот этот вызов, например. Мама страстно любила учиться и мечтала все-таки получить образование. Получив вызов, она пыталась достать билет в Москву, но это было невозможно. Не знаю, как относились к ее планам Баба и Вава, спрашивать об этом у старенькой тетки было неудобно.

Я знаю, что мама тогда часто плакала.

Она уехала случайно, в одном сарафане, машинисты ее взяли на паровоз, т. к. билетов в Москву не было. Она простояла много суток на паровозе. В кабине ехать запрещалось. С собой из вещей у нее был только кувшин с постным маслом, которое она, видимо, достала по карточкам, выстояв в очереди, и зарплата, ее она отдала машинисту. Скорее всего, события развивались так: по дороге домой, идя с кувшином масла, она завернула, как всегда, безо всякой надежды на вокзал, посмотреть (как всегда) на московский поезд под парами, подошла к паровозу, как обычно попросилась, протянула деньги, и ее неожиданно взяли. А времени идти домой уже не было. Да, я думаю, она и боялась возвращаться.

И я не знаю, был ли это товарняк или пассажирский поезд. Товарняк мог идти и неделю...

Но она очень трезво смотрела вперед и не видела там для нас с ней никаких перспектив. Работать в Куйбышеве на заводе в тарном цехе? На всю жизнь остаться без диплома?

А тут получен вызов в Москву, что было вообще по тем временам нереально. И моя мама носила этот волшебный документ с печатью всегда в сумочке, неизвестно на что надеясь. Все документы она носила с собой всегда. Тайно она вела переговоры о билете в Москву даже с нашей соседкой по

куйбышевской квартире, ужасом моего детства, теткой Рахилью, поскольку ее муж работал на железной дороге.

* * *

Об этом Рахиль рассказала мне спустя много лет, когда я была вместе с МХАТом на гастролях в Самаре и нашла свою квартиру, а в ней древнюю, ветхую Рахиль, живущую в своей комнате в одиночестве. Я сообщила ей, что бабушка с Вавой были реабилитированы, бабушка получила орден, квартиру в Москве и кремлевский паек, мою маму мы схоронили, а вот Вава как персональный пенсионер живет в центре Москвы в двухкомнатной квартире, и все мы за ней ухаживаем. А Рахиль мне поведала как о своей доблести, что когда-то достала моей маме билет в Москву. Я сказала, что по моим сведениям мама ехала на паровозе без билета. И тут вдруг Рахиль (в присутствии соседей) торжественно возразила, что вообще во время войны им приходилось идти на то, чтобы прятать все продукты, уносить с кухни от нас. «Конечно, ведь мы голодали, а мне было пять лет, кормить было нечем», — подтвердила я и вдруг заплакала, сидя на этой грязной кухне. У соседок глаза на лоб вылезли — как это так, не покормить голодающего ребенка! Рахиль как могла быстро убралась к себе, бедная, немощная старуха.

* * *

Так вот, мама воспользовалась моментом, чтобы уехать. О чем она думала, забравшись на паровоз, стоя в одном сарафане на продуваемой ветром площадке? Скорее всего, обо мне. Она, может быть, уговаривала себя, что все в порядке, ребенок у мамы и сестры, сестра работает, девочка в детском саду. Ничего, проживут. Надо получать образование и потом забирать ребенка.

Представляю, как билось ее сердце, когда паровоз пошел! В Москву, в Москву! Ей было 27 лет.

Приехав к своему отцу Николаю Феофановичу Яковлеву в его двенадцатиметровую комнатку на улице Чехова, заставленную книжными шкафами и стеллажами, она поселилась у него под обеденным столом и сразу же послала в Куйбышев письмо и денежный перевод, добилась алиментов от своего бывшего мужа. Ходить ей было не в чем, она носила на лекции поверх сарафана дедову шинель.

Я думаю, что бабушка с тетей приняли ее исчезновение без

большой радости. Ее имя не упоминалось больше. Однако столько уже было в их жизни потерь... Тогда ведь обычно как бывало — люди растворялись без следа. Знаменитое стихотворение «Из дома вышел человек» Хармса. Он сам тоже однажды вышел и не вернулся никогда.

Но я маму ждала упорно и непрерывно.

* * *

Я встретилаcь с ней только через четыре года.

Мама мне потом часто говорила, что ради меня должна была получить высшее образование, иначе было бы не прокормить семью. Она всю жизнь оправдывалась передо мной, бедная.

Куйбышев. Способы существования

Так вот, мы остались в Куйбышеве вдвоем, я, бабушка и тетя. И вот тут начался настоящий голод. Ваву как «че эс» уволили с завода после одного очень длинного ночного допроса в органах.

Жили мы на то, что присылала мама, — на алименты от моего отца Стефана Антоновича, молодого философа.

В войну все было по карточкам. Карточки у нас с Бабой и Вавой были одна детская и две иждивенческие. На них мы покупали черный хлеб, при этом из карточки продавщица вырезала талоны. К концу месяца бывало, что весь хлеб оказывался «выбран»...

Занимали очередь утром, еще во тьме, на морозе. Хвост вился в белых снегах, очередь в хлебную лавку, к тяжелой, замороженной двери.

Наконец мы оказывались внутри, в тепле, в тесной толпе, каждый прижавшись к впереди стоящему, чтобы его не потерять. Формула «кто последний, я за вами» — это было спасением в хаосе войны. Прислонившись к тому, кто стоял перед тобой, и ни в коем случае не отлипая от него, ты оказывался в мире закона, порядка, справедливости, ты получал право на жизнь. И ты с боем должен был отстаивать свое место, то есть не пропускать вперед никого! Тогда из очереди отходить не полагалось.

В магазинчике крепко, до головокружения, пахло вкуснейшим черным хлебом, от этого запаха ломило в челюстях и сосало под ложечкой. В пустых животах громко работали моторы голода, побуждая продвигаться. Мы тянули шеи и настойчиво перетапывались, не приближаясь к цели ни на сантиметр. Толпа качалась.

Впоследствии я увидела, что именно так ходят в спектаклях мимы: имитируя шаг и оставаясь на месте.

Доходила наша очередь. Вес всегда был меньше нужного, и продавщица ловко кидала с высоты на отрезанный хлеб дополнительный «довесок», так что железная чашка, на которой стояла буханка, под ударом резко опускалась — и тут же хлеб с весов снимали. Это было простейшее искусство обмана. Но довесок доставался всегда детям и ценился очень высоко. Я его иссасывала тут же.

Хлеб мы затем якобы делили честно на три части. Я проглатывала свою сразу же, отщипывая из-под подушки. Потом тетя и Баба скармливали мне свои порции...

Когда я спрашивала Ваву, как же мы выжили, она пожимала

плечами и улыбалась довольно растерянно: «Не знаю».

В садик я ходила какое-то время, там детский народ жил своей жизнью, мы тайно ели клей, прошел слух, что он «вишневый», мы запускали в баночку пальцы и их облизывали, когда мастерили бумажные самолетки в отсутствие воспитательниц. А также мы дружно считали, что в коридоре живет Баба-яга, поэтому туда не надо выходить, особенно когда вымыт пол (так сказала нам нянечка). Было и еще одно правило: глядя на пролетающие самолеты, мои товарищи малыши торжественно произносили имена тех, кто был у них на фронте и якобы летел в этот момент над нами. И гордо смотрели друг на друга. А я не могла назвать ни одного имени. Униженная, я как-то пришла домой и спросила у тети, про кого мне говорить. Она крепко подумала, мужчин на фронте у нас не было (Женя, ее любимый дядя, был посажен, муж ее тетки тоже, мой ушедший из семьи отец как туберкулезник в счет не шел). Но все-таки Вава наскребла два имени. Я стала тоже как все говорить гордо и звонко: «Вон летят мои Сережа и Володя». Я не знала, кто это такие. Володя, кажется, был бывший муж моей тетушки, а зато Сережа был мой собственный сводный дедушка! Он был старше меня на 17 лет, как впоследствии оказалось.

(Спустя почти шестьдесят лет я с ним познакомилась, когда мы все, потомки, праздновали в гостинице «Метрополь» 140-летие моего прадеда Ильи Сергеевича. Сережа — последний сынок Деди, рожденный в пятьдесят с гаком лет от третьего брака. И Сережа, что оказалось правдой, был на войне летчиком.)

Кстати, однажды в том детском саду я действительно увидела в коридоре ожидаемую Бабу-ягу, но почему-то проскакнувшую под потолком. Как-то раз зимним вечером погасло электричество. Все дети бегали по коридору как ненормальные, толкались, орали, махали кулаками на свободе. Когда никто не видит, толпа сходит с ума! В коридоре было черным-черно, только вдали еле светилося (видимо, за счет снежной ночи) высокое окно. По стенам стояли шкафы. И вдруг в районе форточки на этом высоком окне, почти под потолком, показалась скрюченная горбатая тень, черная как бы обезьяна, она протягивала руку и ногу, уцепившись за шкаф, и вдруг сиганула куда-то вбок совершенно бесшумно. За ней мотнулась то ли тряпка, то ли подол. Это и была Баба-яга! Я догадалась. Ужас был у меня на всю детскую жизнь. Нянечка была права, что нельзя выходить в коридор.

(Дети, конечно, лихо лазают по верхам и прыгают в темноте,

этого я не учла. Кто-то вскарабкался на шкаф и соскочил на подоконник.)

И второй кошмар детства был Кощей Бессмертный, о встрече с ним скажу позже.

Дети действительно способны в реальности видеть то, чем их пугают взрослые...

Потом уже нечем было платить и не во что меня обуть, и я осталась без детского садика.

Обувь для северных бедняков самое главное. А лапти в городах не плетут.

С апреля по октябрь было хорошо — я босиком бегала на воле. От снега до снега.

О туберкулезе уже речь не шла, у меня и соплей-то не бывало.

Как меня спасли

Нас был целый табун детей, мы коротали все светлое время на Волге. Я не умела плавать, да это и не нужно было, плещись сколько хочешь на мелком берегу, он полого уходил под воду.

Но когда однажды пришла весна и наступил разлив, это легкомыслие на воде, неумение плавать, мне аукнулось, я чуть не утонула.

В мае Волга разлилась до размеров моря, наш низкий берег затопило, а другая сторона еле виднелась. Мы с подружкой решили туда съездить, пробрались без билетов на паром и переправились. Вышли, берег как берег, но не пологий вроде нашего, а как ступенька, под которой плещется вода. Я села на травку и опустила ноги с этой ступени, но не достала до воды. А хотелось по ней побродить, как я делала это на своем берегу.

Я прыгнула туда и мгновенно ушла в глубину, как ослепла и оглохла, утонула.

Потом открыла глаза и дальше уже погружалась при полной видимости, замечала бурные, кипящие вокруг пузырьки, какие-то высокие травы, которые колыхали перьями. Я опускалась все ниже, вода была светлая. Достигла дна, очень легко оттолкнулась и стала подниматься столбиком. Вверху уже сильно посветлело, белый день, воздух был рукой подать. Начала поднимать голову, чтобы вдохнуть, — и опять провалилась с ужасной легкостью и быстро пошла на дно. Самое интересное, что я видела себя сверху как скрюченного человечка, опускающегося лицом вниз. Я бы сказала себе, что это похоже на плавающий эмбрион, если бы знала тогда это слово. Опять оттолкнулась от дна. Снова пошла вверх, но уже не решилась поднять голову, болталась спиной вверх, бессильно глядя вниз, в баламутную темную глубину. Я уже понимала, что поднимать голову нельзя. Я была легкая и плавучая, но только с условием не дышать. Хочешь вдохнуть — проваливайся. Все утопающие плавают на поверхности, но лицом вниз. Таков закон гибели на воде. Мне очень хотелось набрать воздуха. Сердце колотилось, в голове громко стучало. Уши наполнились шумящей водой. И вдруг я увидела боковым зрением какую-то тень, что-то маячило наверху там, где было светло, что-то нависло вроде кривоватого сука, ветка ивы, что ли... Я мигом вытянула руку, схватилась за это — и как пробка вылетела наружу!

Оказалось, что молодая женщина вышла по воду к реке с ведрами и коромыслом, и она заметила, что там внизу барахтается, она подумала, собачонка. Она захотела подцепить ее

коромыслом — и тут высунулась детская рука! Тетя даже испугалась и отшатнулась. Но уже уцепился этот улов за ее коромысло с ужасной силой!

А моя подруга, как только увидела, что я утонула и не показываюсь на поверхности, испугалась и убежала. Дети всегда прячутся в случае чего, даже во время пожара под кровать.

Потом я, трясаясь от холода, сохла в каком-то полуразрушенном ларьке в компании вернувшейся подружки. И уже малолетняя шпана, огольцы, ходила вокруг домика и гнусно хихикала по моему поводу — гля, голая. Мокрый сарафан прилип к телу... Что там мне было, семь или восемь лет, но я понимала, что это неприлично. Я пряталась за подружку. Законы двора — это почти шариат!

Имелось и еще одно обстоятельство — как у каждого голодающего ребенка, при полном истощении, ножки и ручки спички, у меня был сильно вздутый живот. И кто-то в чужом дворе однажды показал на меня пальцем: «Смотри, девка беременная». Я поверила сразу! Я не знала, отчего это бывает, сколько времени длится и чем заканчивается, но я знала, что это позор и моя тайна, и только молилась своему Богу, Боженька, помилуй. Боженька, помилуй. Спаси. Молитв я не знала.

Вот это был действительно многолетний кошмар моего детства. Кто у меня там сидит? Иногда пищит, иногда бурчит, булькает, ужас. Или змея, или ребенок!

Некоторые американские ужастики типа «Чужого» наверняка сочинены были еще в детстве.

Мы сели на обратный паром, наступал вечер, и я еще долго пыталась высохнуть, стуча зубами, в парке — домой в мокром идти было нельзя, догадаются. (Это при том, что родные меня никогда не наказывали! Но они не должны были знать, что я купаюсь. Это мне строго запрещалось.)

Цирк Дурова

Там, в прибрежных зарослях городского парка, мы проводили всю свою жизнь летом. Это называлось Струковский сад. Вечерами и днем в воскресенье на эстраде играл оркестр.

Парк был огромный, заросший как лес, он спускался к Волге аллеями и склонами. Мы искали в траве и ели «баранчики» — такие шишечки, зеленые мелкие лепешки.

Возможно, это была единственная пища детей за день. Ели также цветы акации, кислицу и щавель. Ягоды там не водились.

Когда раскинул свой шатер цирк-шапито с Дуровым, задача детей была проникнуть. Я попала! Фокус был в том, чтобы пробраться на уровне колен взрослых, у них в ногах, через широкие двери шапито. Зрители с билетами валили валом, спотыкаясь. Но толпа была такая плотная, что даже посмотреть себе под ноги идущим было, видимо, невозможно. Дети продвигались на карачках. Важно было не упасть, чтобы не затоптали. И уже проникнув внутрь, надо было спрятаться среди рядов от взглядов служащих, это тоже мне удалось, необходимо было сесть подальше рядом со взрослыми и вступить с ними в беседу. Как будто я их родная лохматая дочь.

Я увидела знаменитый номер Дурова со слоном! На арене была огромнейшая кровать с гигантской подушкой. Слон, как человек, садился на кровать, брал хоботом здоровенный будильник, тот звонил! Слон ставил его на тумбочку. Потом он ложился боком. Играла медленная музыка. Но слоновья туша тут же начинала бугриться, взмахивали передние толстые подошвы, слон медленно вставал (Дуров, правда, подбадривал его палочкой). Дальше в дело шел хобот, слон поднимал и откладывал подушку, а затем доставал оттуда клопа размером с чайник! Клал его на песок и ногой бил по нему. Клоп взрывался! Стоял дикий хохот. Дуров угощал слона, засовывая ему что-то в пасть, как на верхнюю полку.

Еще были обезьянки. Одна, в костюмчике, читала большую книгу, нервно ее листая. Между страницами, видимо, были какие-то съедобные кусочки. Она быстро совала их в рот и скорей листала туда-сюда, бестолково, но жадно. Помаргивала, оглядывалась и почесывалась. Всеми своими хаотическими движениями она напоминала голодного вшивого мальчишку.

Или голодную девчонку.

В поисках еды

Мы рыскали в поисках пропитания всюду, как бродячие щенята. Однажды я забралась в кабину фырчащего грузовика и отогнула полочку, висящую над передним стеклом. И там неожиданно нашлись три рубля! Я тут же слезла, показала ребятам деньги и сказала: «Там, над стеклом!»

Все тут же полезли смотреть, ничего не нашли.

Я стояла как победитель!

Конечно, деньги у меня отобрали известным способом: «А ну покажь!» — «Да не буду!!!» — «Ля! Ничего у тебя нету! Покажь!» — «Не покажу!» — «А в морду?» — «Оставьте меня в покое вообще, дураки!» — «Огольцы, у ней нету ниче у падлы бляцкой!» — «Нету, да? Нету? А на! Вот, смотри!» (Деньги на раскрытой ладони.) Хлоп снизу по руке! (Деньги падают, исчезают.)

Поздней осенью я возвращалась, по выражению Лермонтова, «на зимние квартиры» к бабушке и тетке. В холода босиком не побегаешь. Валенки не было, одежды не было никакой. Еды тоже.

В школу я не ходила.

Но я часто в сентябре стояла босая на балконе и смотрела, как дети идут с портфелями — по Фрунзенской ходила каждый день девочка в ярко-голубом пальто с большими белыми пуговицами. Как мне оно запомнилось!

(Когда моему сыну Кирюше исполнилось два годика, мне удалось купить ему и его двоюродному брату Сереже синие пальтишки с большими белыми пуговицами! Тогда трудно было что-нибудь достать, это были простенькие байковые с начесом одежды, но я была почему-то так счастлива, когда их купила!)

Бава приносила от столовой Дома офицеров картофельные очистки — их солдаты сваливали на помойку. Баба пекла это на сковородке на примусе, как пекут картошку, без масла. До сих пор помню ужасный вкус горелой шелухи...

Примус стоял на подоконнике в комнате. На кухню нас на пускали.

Питались мы также из помойного ведра соседей. Это были богатые люди. В бывшей комнате Деди поселился майор, у которого имелся патефон и одна пластинка. Я, прислонясь ухом к забитой общей двери, выучила Бетховена «Заздравную» («Выпьем, ей-богу, еще») и арию из оперетты «Сильва» («Красотки, красотки, красотки кабаре»). В другой комнате обитала семья директора железнодорожной школы, той самой Рахили, которую почему-то Баба звала красивым именем Фурия. У нее были две дочки постарше меня, Эмма и Алла, и свирепый муж, тоже

железнодорожное начальство.

Ванная в квартире отапливалась дровами, которых у нас не было. Там же лежал топор. Мы мылись холодной водой в комнате. Однажды бабушка закричала из коридора. Мы вбежали, она лежала в луже крови на пороге кухни. Муж Рахили, застав ее в ванной, ударил мою маленькую бабушку топором по голове, чтобы ей неповадно было ходить туда. Слава Богу, что удар прошел по касательной. Вава вызвала «Скорую», врач забинтовал бабушкину седую голову (единственное, что на ней было белое за все пятнадцать лет, которые мои родные провели в Куйбышеве). Они, разумеется, никуда не пожаловались. Имя того начальника было Кретин, так я его и запомнила. А вся семья называлась «рвачи».

Разумеется, майор, Кретин и Фурия выкидывали толстые картофельные очистки, селедочные хребты с головкой, зеленые капустные листья. Горелых хлебных корок почти не имелось.

Но это надо было тоже добыть, избежавши позора и ругани! Т. е. когда соседи спали.

Если удавалось достать керосин, Баба варила суп!

Однажды наступил обычный момент, когда квартира утомилась, дело шло к ночи. Голод уже полностью сожрал наши кишки, и, выждав контрольное время, мои старшие послали меня за мусорным ведром.

Помня о топоре, я прокралась на кухню.

У помойного ведра на скамеечке валялись две огромные тряпичные куклы без платьев.

Их явно выкинули дети нашей соседки, Фурии Яковлевны.

Куклы были с головами из папье-маше, без волос, с облупленными носами, туловища, руки и ноги тряпичные.

У меня имелась своя кукла, но одноногая и целлулоидная, притом небольшая. Кроме того, у меня был конь. Я вырезала его из кусочка картона и раскрасила единственным своим лиловым карандашом: нарисовала ему глаз. Конь показался мне ненастоящим. И я обмотала его поперек живота тряпочкой, чтобы получилось брюхо потолще.

А тут две такие огромные красавицы!

Теперь-то я знаю, что такое куклы для девочки: они для нее покорные богини. И эти маленькие боги вызывают трепет, дикую жадность до слюней, обожание и поклонение, а также свирепость, и если они наконец-то попали к вам в руки, с ними можно делать всё! Их всюду носят с собой, крепко до зверства прижимая к груди, их насильно кормят, приговаривая «ам!», и могут оставить навсегда с замурзанным, засохшим лицом. Могут раскрасить им морду, а потом смыть все подчистую, в том числе и фабричные брови и краску с губ. Срезать волосы. И потом способны жалеть и любить еще сильнее. Ничто не может сравниться с любовью девочки к своей кукле (только безумная любовь к маме и папе и нечеловеческая привязанность к бабушке и дедушке). С куклой можно обращаться как хочешь! Играть с ней даже во врача, чтобы, глотая слюну, делать ей операции. Нельзя только, чтобы кукла попала в руки мальчишкам! Они ее разорррвут!

Кукле нужно устроить дом, постель, желательно под стулом, под столом.

Но тут я как замерла. Я ничего не могла с собой поделать. Выброшенные куклы лежали, а я не верила своему счастью. Я знала, что у нас нет будущего, что я не имею права и помечтать о том, чтобы сшить им платья и где найти лоскутики, я не смела даже думать, куда их положу и какую жизнь мы могли бы прожить вместе!

Эти две огромные куклы стали первыми моими божествами.

Я сразу начала по ним тосковать. Нам предстояло разлучиться. Я встала на колени, усадила их, положила их набитые ватой бедные грязные руки как следует. Эти гигантши постепенно занимали свое место в моей душе, уплотняли ее, наполняли (так ребенок наполняет душу, грудь и брюхо матери, если прижать его). Я попеременно обнимала их. Потом я взяла их на руки, прильнула к ним и замерла. Они были огромные, прекрасные и покорные.

Не помню, сколько это все длилось, может быть, до утра. Я не посмела их взять домой. Перед школой в кухню заглянула Рахиль, деловая женщина, и вскоре вышли обе девочки, мстительно взяли своих кукол и уплыли.

Теперь про счастье, про Ночь Победы. Это был именно не день. В те сутки в городе мало кто спал, видимо. С часу на час ожидали сообщения, и потом все радостно повторяли эту непонятную формулу — «безоговорочная капитуляция». В четыре часа утра меня разбудил шум на улице, как будто бежала и бормотала, что-то выкрикивала огромная бесконечная толпа, как идущий поезд. Было еще темно (часов у нас не имелось, но почему я думаю, что это было в четыре — в пятом часу уже начинался рассвет).

Я вскочила и как была, в сарафанчике и босая, убежала на улицу, где и носилась целый день. Качали военных, остервенело подбрасывали даже наших бездельников из Окружного дома офицеров, осторожно качали раненых из госпиталей, везде играли патефоны, гармошки и балалайки, в Струковском саду были танцы, у входа продавали подснежники.

Начиналась новая жизнь, и наступал великий голод послевоенных лет.

Я все больше отбивалась от дома.

В первый раз я убежала летом уже в более-менее сознательном возрасте, лет в семь. Видимо, после Дня Победы.

В начале июня я провела несколько дней на свободе. Ночевала не на улице, не в Струковском саду под эстрадой, где видела пролом в досках и черную, заплесневелую землю, от которой несло сыростью и застарелым людским навозом, там уже все было изгажено (днем я кружила, искала себе пристанище на ночь). А нашла я место ночевки в кабинете начальника ОДО (Окружного дома офицеров).

Я давно вместе со всеми ребятами с нашего двора научилась пробираться туда на киносеансы, прячась за дверями, научилась собирать хлебные крошки из фанерного фургона, в котором привозили буханки в столовую ОДО (когда кучер и приемщик уходили вместе в дверь черного хода с последним поддоном хлеба и с бумажками, фургон оставался пустым, открытым. Кляча стояла, поставив заднее копыто на ногу, а мы, голодные дети, забиралась внутрь, где невыразимо вкусно пахло сухарями, и собирали с полу в щепоть крошки).

ОДО был родным местом, его черный ход маячил у нас на задворках. А сам двор и здание были огорожены сараями и гаражами. Солдаты ОДО гоняли голубей, швыряли им хлебные корки, которые, попав на железные крыши сараев, засыхали, голуби не могли их склевать, и мы, дети, залезали со стороны двора на эти раскаленные крыши, бегали на пяточках и искали там корки.

На крышу можно было взобраться только одним способом — уцепившись пальцами ног за острый край огромной бочки с варом.

Кто уж ее поставил у сараев, неизвестно, но по сути это была настоящая ловушка для голодных ребят. Взрослые ведь знали, что дети все равно полезут, но бочку не убирали!

В жару вар расплавлялся, вытекал наружу, и все понимали, что можно упасть в бочку и насмерть утонуть в варе. Никто бы не смог вытащить, вар не отпустит. Но дети лезли. На крыше, возможно, валялись корки! Для меня голод был сильнее опасности. Стало быть, мне надо было улучшить момент, когда мальчишки не крутились около бочки.

Под бочкой всегда огромной бугристой лепешкой лежала лужа расплавленного вара, вытекшего наружу. В нее меня однажды все-таки толкнули. Я сидела в этом страшном вязком

месиве и старалась не плакать. Вокруг стоял безудержный хохот. Я не могла выдраться и только водила, как во сне, черными огромными руками, превращенными в рукавицы, пыталась расклеить пальцы, а с них тянулись сосульки и нити вара. Ладони стекленели, но я боялась опустить руки обратно в толщу клейкого вара, чтобы опереться, а это была единственная возможность встать. Какой-то взрослый человек с руганью отлепил и поднял меня. Под дикий смех дворовых ребят я поплелась домой, стараясь не касаться головы. Меня кое-как отскребли. Трусики пришлось выкинуть. А других не имелось... Я приспособилась завязывать майку внизу узлом.

В этом мире было не до размышлений. Только бежать, или прятаться, или, если уж настигнут, кричать и драться.

Во всем остальном у меня было нормальное по тем временам детство. Подружки, прятки, бешеные казаки-разбойники. Играли в «чиза», в «замри». В спокойные моменты мы делали в земле «секретики» — клали в ямку цветные стеклышки и накрывали одним большим стеклом, а потом засыпали сверху грязным дворовым песком. И ходили, искали чужие «секретики», не выдавая свои. Хотя, разумеется, дети смеялись над моей московской речью, передразнивали эти «видишь ли» и «дело в том, что».

Но самой близкой и любимой была у меня собака Дамка. Иногда мы с ней валялись вместе где-нибудь, я ее обнимала за худенькую шею, а то мы бегали и прыгали, она приносила брошенную палку, я хохотала. Но как-то раз она мчалась, улепетывая в том числе и от меня, с ужасной скоростью, она с трудом тащила в зубах как бы окровавленную гребенку — видимо, кухонные солдаты выкинули обчищенные бараньи ребра. Я побежала за ней, а она предупредительно зарычала на ходу, первый раз за все время. Я отстала. Дамке было не до шуток!

Я все упрашивала тетю и бабу родить мне «хоть котеночка, да хоть щеночечка».

Однажды зимой моя мечта исполнилась, я привела в комнату голодную кошку, это был как раз вечер Нового года. Она дежурила на лестнице и мяукала, я ей открыла дверь. У нас по случаю праздника горела керосиновая лампа! Было невероятно светло и прекрасно. Я обнималась на диване с моей новоявленной Мурочкой, она робко урчала. Мы ждали полночи, а потом вместе пировали тем, что выкинули соседи. Она ела всё, даже картофельные очистки и селедочную головку! Потом, поевши, мы с этой серенькой Муркой водили хоровод вокруг еловой веточки, воткнутой в консервную банку. Кошка вынужденно перебирала тощими задними лапками, заплетающимися неровными шажками

таскаясь по кругу, я держала ее за передние ручки и пела «Красотки, красотки, красотки кабаре», совместно с соседским патефоном. У нас был праздник!

Потом она попросилась наружу и убежала.

Вся жизнь проистекала у меня летом.

Иногда мне все-таки удавалось забраться на крышу и найти кусочек черной корки. Обратного пути не было (как раз угодишь в бочку с варом), и приходилось тайно спрыгивать с той стороны сараев во двор ОДО. Затем я проникала в Дом офицеров мимо дежурных, не помню как. Для нас для всех в ОДО была одна главнейшая приманка — там вечерами крутили кино. Трофейные фильмы «Королевские пираты», «Остров страдания» с Эрролом Флинном. Фильмы с Диной Дурбин. «Большой вальс». «Серенада Солнечной долины» (любимейший мой фильм, кроме глупого финала).

Так что летом было много счастья.

Мы смотрели подряд всё, прячась за дверьми и особенно за портьерами в промежутках между сеансами, как наши шпионы в позднейших военных кинофильмах («Секретная миссия», «Подвиг разведчика», к примеру), и так же я однажды спряталась уже после кино. Потом, как во сне, я промчалась по совершенно пустым коридорам и нашла себе для ночевки кабинет начальника, там стоял диван грубошерстной обивки, которая всю ночь колола мне щеку. Подложив под голову локоть, я было собралась спать, а ночь стояла светлая, июньская, и тут моим взволнованным глазам предстала в полном и грубом блеске картина, на которой Сталин и Ворошилов в шинелях принимают парад, а мимо катит кавалерия (тачанки?). В первый раз в жизни я увидела перед собой произведение живописи и испугалась.

В дальнейшем я еще расскажу об ужасе моей жизни, о «Портрете» Гоголя.

Днем я, как полагается беспризорному ребенку, побиралась. Т. е. просила милостыню. Голод я переносила легко, мы голодали уже давно, бабушка лежала огромная, раздутая водянкой, хотя моя тетя и рассказывала, что она иногда ходила на разгрузку в порт, за что Бабе давали бутылку денатурата, которую можно было обменять на хлеб. Вава один раз откуда-то принесла в ладони кучку виногрета, а другой раз — чашку сливового повидла. Я как присела перед повидлом, так его сразу и съела, как звереныш, понимая, что другого такого случая в жизни не будет. Десятки лет потом я не могла выносить даже запаха сливового джема!

У нас отрубили за неуплату электричество, но временами удавалось купить керосину для лампы и примуса. В лавочке нам отпускали топливо после всех почему-то. Мы простаивали там долгие часы. С тех пор запах керосина вызывает у меня предчувствие света и радость. Мы приносили домой бидончик. Можно было что-то сварить. Иногда зажигали керосиновую лампу, и торжественный, ярчайший, золотой свет заливал нашу комнату с высоты диванной спинки.

Вот вам вопрос о радости жизни — особенно острое счастье ведь зарабатывается лишениями, как ни крути. И только разлука дает возможность невыносимой встречи.

Я переносила легко голод, но не могла вынести несвободы. Боясь за меня (все-таки тут маленькая девочка из порядочной семьи, а город дикий, полно бандитов, во дворе жизнь вольная), бабушка и тетя Вава объяснили мне, что в городе цыгане украли ребенка, и под этим лозунгом они не велили мне гулять. Я тут же сбежала, явилась домой через несколько дней и, простодушно воспользовавшись их же легендой, сказала, что меня крали цыгане, а освободила милиция.

Они тревожно переговаривались над моей бесшабашной головой, употребляя так называемый язык придворных, код подпольщиков.

Они не знали, что я научилась его понимать, я тоже это скрывала. Я помню, что они ругались словом «чашпо». Дедя цитировал довольно часто стишок Пушкина про князя Дундука (я его воспринимала как детский: «Отчего же, почему же Дундуку такая честь? Отчего он заседает?») — И тут Дедя торжествующе завершал: «Потому что хона есть!»). Слово «хона» я быстро

поняла, на улице «огольцы», то есть шпана, ругалась приблизительно так же.

Вава, моя тетка, потом открыла мне секрет этого кода, то есть «языка придворных». Список согласных там делился пополам, и первая буква менялась на последнюю и т. д., «ж» на «х» и обратно, «г» на «ч», «н» на «п». Известное ругательство звучало бы как «жуй». То есть «И-ци-па-жуй», нечто китайское.

Поэтому все их тревоги, все страхи за меня я понимала, все намерения, предвидения, все горькие слова слышала. Но мне это было нипочем, я в эти дела не вникала, им не верила, моя задача была уйти на улицу.

Так я все летние месяцы войны и прожила — носилась по городу, просила милостыню, косила под сиротку: «Нет ни мамы, ни папы, помогите».

Большой театр

Однажды я даже проникла на балкон (видимо, осветительский) оперного театра, вход туда был снаружи по железной лестнице. Я кружила под стенами Оперы, поскольку войти в театр не удалось, а огни сияли, публика валила, сладкая музыка слышалась... И тепло было внутри.

И вдруг я заметила вдали от входа, за углом, крутую металлическую лестницу. Она уходила под небеса, на высоту примерно пяти этажей. Уже темнело, висели низкие тучи, накрапывало. Я полезла вверх руками и босыми ногами по мокрым железным ступенькам, жутко боясь смотреть вниз. Вскрабкалась, поскреблась, изобразила сиротку, страх возвращаться по этой крутой лестнице вниз, в пропасть, придал моему голосу, видимо, настоящее отчаяние. Я исполнила весь текст детей-нищих про то что «папи нету, мамы нету... Разрешии-ить войти?! Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну умоляю вас, смилуйтесь, будьте любезны, мне так хо-олодно!!! Так хочется му-зыку послушать, ну пустите хоть на пять минуточек!» Ветер действительно свистал. Ноги заledenели на железе. И вдруг дверь открылась в тепло, тьму, загремели праздничные звуки оркестра, добрая тетя пустила.

Я оказалась на балкончике у осветительницы, около раскаленных, воняющих краской софитов, а внизу, рукой подать, было что-то волшебное, цветное, яркое, какой-то дворец в искусственном саду среди нарисованных деревьев — и на нем тоже имелся балкон, чуть пониже моего! И буквально в нескольких метрах от меня стояла розовая дама и нежным голосом пела «Милый друг мой, я слушаю вас». В тот вечер я прослушала «Севильского цирюльника» Россини в исполнении эвакуированного Большого театра. На следующий вечер я полезла вверх снова. Скреблась. Замерзла в своем сарафанчике. Выла. Но мне уже не открыли.

Как побитая собака, я поплелась домой. Там хоть было тепло.

На всю жизнь я запомнила этот кусочек из дуэта Розины и Альмавивы...

В дальнейшем, когда я возвращалась, тетя и бабушка делали вид, что все в порядке, они уже не расспрашивали меня, но я продолжала им рассказывать свои байки (как меня украл).

Видимо, Баба и Вава были счастливы, что я вообще есть на свете, и не рисковали выводить меня на чистую воду. Иногда они меня кормили супом из капустных листьев, которые Вава подбирала на рынке на земле. («Для козы? Это ты для козы?» —

спрашивали торговые бабы, чтобы не расстраиваться, видимо. Моя тетка Вава, недавняя студентка Академии бронетанковых войск, я это видела, тайно заплакала, нагнувшись над втоптаннами в землю капустными листьями, от таких вопросов). Поздно вечером я, как всегда, была посылаема на промысел за соседским помойным ведром.

Вниз по лестнице

А однажды я, вернувшись, видимо, наплела такого, что бабушка с тетей посуровели и, посоветовавшись на своем языке, пошептавшись, вынесли решение.

И Вава пошла и заперла дверь на ключ!

В общем, все было не напрасно: каждая маленькая девочка, вырастая, должна была занять свою позицию во дворе. И как правило, должна была пройти через многие руки.

Там, за сараями.

Девчонки постарше между собой об этом не говорили, но намекали, показывая подбородками в ту страшную сторону.

Я не понимала ровно ничего. Не чувствовала опасности. Я была худая как скелет. Меня били, но пока что не использовали в своих целях.

Однако это будущее — так или иначе — меня бы не миновало. Хотя бы в качестве наказания, чтобы знала свое место.

А тут из Москвы приехала тетя Маруся Яковлева, сестра моего деда Николая Феофановича. Она была педагог, по линии театрального общества инспектировала провинциальные театры и с посылочкой от моей мамы также навестила и нас. Она привезла мне подарки — коробку трехслойного мармелада и коробку с детской алюминиевой посудкой — там были кастрюлечки с крышками и даже половничек, все приделанное к картону резинками.

Совершенно неслыханная и невиданная роскошь!

Тетка Маруся дисциплинированно поговорила с нами, порасспрашивала и уехала.

Она, как актриса и педагог, а также как сестра мужа бабушки (злая золовка) и бровью не повела, увидев, как мы живем.

Но в Москве она высказала моей маме напрямую всё, что ей пришлось увидеть и пережить! Так я думаю.

Мама в тот момент оканчивала ГИТИС и устраивалась на работу.

Мои бабушка и тетка из гордости ведь никому ничего не писали.

Итак, встревоженные родные меня заперли.

И однажды, танцуя под собственное громкое пение, показывая лежащей бабушке и Ваве свое искусство, я подплясала к двери с торчащим ключом и успела повернуть его в замке, но меня настигли любящие руки. Больше ключ уже в двери не торчал. Сердце у меня бешено билось. Меня держали под

стражей.

И тогда я, охваченная жадой свободы, вышла на балкон. Мы жили на третьем этаже, прыгнуть было страшно. Подумав, я, дико волнуясь, перелезла на соседский балкон, оттуда с трудом дотянулась до пожарной лестницы. Она качалась, была деревянная, трухлявая, пролеты между перекладинами казались мне огромными. Повисая каждый раз на руках, я на ощупь ловила ногой ступеньку и спускалась шаг за шагом на волю. Внизу, метра за полтора до земли, лестница кончилась. Что было делать, я ухнула вниз. Хлопнулась задом. Вскочила. Ура. Долетела. Был солнечный зеленый день. Я заранее все предусмотрела, оделась во все свои одежды — в майку, сарафан и суконную салатового цвета жилеточку, которую подарила мне добрая соседка из другого подъезда. Она мне и хлеба иногда выносила.

Потом я с бурно бьющимся сердцем, дрожа от счастья и свободы, все-таки погуляла под балконом, дождалась, пока не появилась над перилами седая голова моей тридцатидвухлетней тети. Я смотрела вверх на нее, она смотрела своими огромными темно-синими глазами вниз на меня. «Как ты спустилась?» — громко крикнула тетя, чтобы выиграть время и подольше поддержать меня на месте (может быть, она надеялась, что бабушка все поняла и уже кинулась по лестнице за мной, хотя куда ей было, ноги опухшие не ходили). «Спрыгнула», — ответила я на всякий случай, чтобы они не догадались, и быстрее вихря умчалась вон, пока меня не поймали.

Я сбежала, как выяснилось, навсегда. В следующий раз я их увидела только через девять лет, и они меня не узнали. Мне уже было восемнадцать. «Это кто?» — спросила моя крошечная бабушка, поднимаясь по лестнице еле-еле своими раздутыми ногами. Я все еще чувствовала себя виноватой...

Как я теперь понимаю, пройдя путь воспитания своих трех детей, троих бывших подростков, — они тоже, дети, воспитывают взрослых. Вынуждают их принимать меры.

Какой следующий шаг в борьбе за свободу был у меня?

Не возвращаться домой вообще.

А у них, у бабушки Вали и у Вавы?

Поймав меня, запереть и балконную дверь.

Потому что только в теплое время ребенок на улице останется жив. Как только станет холодно, он погибнет. Поэтому-то бездомные дети вертятся вокруг теплых вокзалов. Но все равно они умирают.

Однако совсем не давать им воли — убегут.

О воспитание, борьба неразрешимых противоречий.

Впрочем, когда меня спросили, о чем пишутся пьесы, я
ответила наскоро — о неразрешимых проблемах.

Они все, по сути, неразрешимые.

Об этом дальше.

Литературные лежания

Теперь, после этого педагогического отступления, вернусь к «Портрету» Гоголя.

Так вот, бабушка меня воспитывала в замкнутом пространстве, удерживая дома тем, что великолепно пересказывала классическую художественную литературу. Тетка мне впоследствии говорила, что ее мать легко продолжала любую радиопередачу, если читали Гоголя или «Войну и мир». Она многое помнила наизусть. Бабушка Валя, бывшая «курсиха» Бестужевских курсов, отличалась фантастической памятью. Мой дедушка Николай Феофанович, ее муж, был профессором-лингвистом и знал одиннадцать языков. А я, их потомок, даже в школе не училась, потому что обуви не было. С апреля по октябрь я бегала босая, а зимой сидела дома. Но все-таки я начала читать лет в пять по газетам, которые выкидывали соседи. Мои взрослые принципиально не хотели меня учить. Дедя запретил почему-то (и правильно сделал, ребенок оч-чень интересуется запретным!). Я даже наизусть шпарила отрывки из «Краткого курса истории ВКП (б)», бабушкиной прикроватной книжки — в которой она подчеркивала откровенную ложь. Вся книга была в подчеркиваниях.

Имелись еще два печатных издания — «Комната на чердаке» Ванды Василевской, которую я не запомнила, и моя первая прочитанная книга «Жизнь Сервантеса», кажется, Франка. Там было описание графина с вином, стоящего на столе вроде бы в тюремной камере. Красные блики ложились на белую скатерть. Я до сих пор вижу эту картину ясно, как будто жила там. Красный свет на белом! Ничего подобного в моем мире не было. Ни белого, ни красного. Но оно существовало в моей детской жизни, вот в чем дело. Я помню эти отсветы! Эту белую как плотный слежавшийся снег, эту тяжелую скатерть с толстыми раструбами, спускающимися по углам. Эту комнату с деревянным потолком. Маленькие низкие окна, за которыми горит вечернее солнце. А на воле зеленые поля! Испанская тюрьма мне представлялась почему-то такой.

Еще у Бабы было собрание сочинений Маяковского в одном томе. Видимо, в память о том, что Маяковский был в юности влюблен в Бабу и называл ее пышно Голубая Герцогиня, в духе Серебряного века. Молоденькая бабушка Валя стеснялась его громких признаний. Маяковского привел в Московский лингвистический кружок друг дедушки Роман Якобсон, сказав: «Я открыл гениального поэта». Там они с моей юной бабушкой

встретились еще раз — до того Маяковский, что называется, «бегал» за ней, будучи малолетним членом партии. Об этом я уже упоминала. Тогда им было по пятнадцать лет.

По семейным легендам, Маяковский, встретив бабушку при содействии Романа Яковсона, сделал Голубой Герцогине предложение, а она отказала ему.

А в 1914 году у Вали и Коли Яковлевых уже родилась дочь Вера, моя тетушка Вава.

Когда баба Валя возвратилась после реабилитации в Москву в 1956 году, ее сестра Ася, вернувшаяся из лагерей и ссылки, воскликнула: «Ну вот, не хотела за поэта, вышла за профессора, и что получилось!»

* * *

Наше с Бабой лежание бывало, конечно, зимой.

Обычно бабушка Валя возвышалась на кровати вздутая как гора (та самая голодная водянка), а я умащивалась рядом, тощая как скелет, мы укрывались чем могли, и она целыми днями как бы читала мне, прикрыв глаза, почему-то в основном Гоголя, «Мертвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки». У нее была одна слабость: она много внимания уделяла описанию обедов. И невинно вставляла в гоголевские меню шкварки и борщ. Я спрашивала, что это такое. Бабушка отвечала. У меня, как у собачки Павлова, текли слюнки.

Она прочла мне наизусть и «Портрет» Гоголя. Возможно, что и «Вия», его я боюсь до сих пор.

Так вот, повесть Гоголя «Портрет» произвела на меня незабываемое впечатление (до сих пор я считаю, что сюжет о продаже своего дара — самый актуальный. Кто служит деньгам, служит известно кому).

Наши литературные лежания были по той причине, что мы ослабели от голода.

Мои концерты. Зеленая кофта

А летом я просила милостыню.

Я побиралась не протягивая руку, а ходила по незнакомым дворам, становилась где-нибудь у сарая (там обычно бегали дети и сновали старухи) и начинала петь. Это были песни типа «На полянке возле школы», «По росистой луговой», «По берлинской мостовой». Танго я не пела, а «Утомленное солнце» искренне ненавидела. Это был заезженный шлягер, каждый вечер эту пластинку заводили в Струковском саду. Под нее раненые из госпиталей тянулись на танцы, поселковые бабы у парка продавали букеты, в небесах догорали продолжительные закаты, утомленное солнце действительно опускалось за Волгу, и нам потом попадались на мостовой отдельные головки георгинов, насаженные на проволоку. Я долго билась над вопросом — зачем на проволоку-то? А это они так приделывали отвалившиеся цветы.

Так что «Утомленное солнце» мне надоело до такой степени, что я его вставила в сценарий фильма о нашем с Юрой Норштейном общем послевоенном детстве, фильма «Сказка сказок», который уже стал чем-то вроде постоянного репертуара ТВ на День Победы девятого мая.

Затем я исполняла, как попугайчик, пластинку соседа-майора «Выпьем, ей-богу, еще, Бетси, нам грогу стакан! Последний в дорогу-у! Дурак тот, кто с нами не пьет!» и, выходя на коду, завершала выступление залихватским попури из оперетты «Сильва» — «Красотки, красотки, красотки кабаре! Вы созданы лишь для развлечения! Не знают сомнений красотки из кафе! И им недостойны... любви... му... че... нья-аа! Крра-сот-тки, красотки» и т. д.

Там, правда, было «недоступны», но я с этим словом не справлялась.

Стало быть, я пела свои песенки вроде малолетней Эдит Пиаф, а затем, когда репертуар кончался, а дети уже меня окружили, я, чтобы не терять слушателей, тут же с ходу начинала рассказывать «Портрет» Гоголя. Детей эта история просто потрясала. Я помню, что один раз мне принесли кусочек черного хлеба. А другой случай был такой, что какой-то мальчик подошел и, стесняясь, сказал мне, что его мама меня зовет. Я сначала испугалась, инстинкт говорил мне, что нельзя идти за незнакомыми в чужое парадное. Но все дети стали меня уговаривать, их это тоже заинтересовало, и мы пошли. Там, наверно, на темной лестнице, открылась дверь, и женщина,

утирая лицо, протянула мне зеленую трикотажную кофту без пуговиц, вроде свитера (и я ее тут же надела). Все были рады и осматривали меня на темной лестнице, в свете открытой двери, как собственное удачное произведение.

Больше, разумеется, я никогда в этот двор не заглядывала.

* * *

Спиноза вроде бы говорил, что мы избегаем тех мест, где нам было плохо.

Но иногда невозможно вынести и непомерное добро, сделанное тебе. Туда нет возврата.

Кто-то сказал, что отплатить за великое благодеяние можно только неблагодарностью...

Может быть, ты подозреваешь, что ничто не повторится, все будет хуже, и уйдет главное счастье жизни — воспоминание о добре. И те лица тебя уже не встретят, и зеленой кофты больше не будет.

А так — они с тобой. Эта толпа голодных детей, эта открытая дверь, протянутая рука и невидимая чужая мама, которая плачет, стоя спиной к свету.

Джойс называл такие вспышки памяти «эпифании».

Эти эпифании здесь, тут, сейчас.

Портрет

И вот так, порассказавши по дворам «Портрет» Гоголя, я в полном одиночестве поздним вечером, в Доме офицеров, в пустом кабинете начальника, устроившись на диване, подложив под щеку руку, увидела в свете негаснущего заката произведение живописи, на котором Сталин вполне мог обернуться и своими черными глазами жутко посмотреть прямо на меня. В диком страхе я легла на другой бок и так застыла, накрывшись ладонью.

Чудовищная угроза исходила от этой фигуры.

В дальнейшем я уже ночевала в других кабинетах.

Такова сила воздействия живописи! Мало ли что чувствовал художник, когда писал это произведение. Может быть, оно у него родилось от страха, в надежде на помилование.

А что чувствует автор в момент созидания, то и передается особенно чувствительной публике.

Кстати, после получения зеленого свитера я почему-то стала стесняться выступать по дворам, а пошла просить милостыню в магазин.

Похоже, я вообще прекратила деятельность артистки, вплоть до детского дома.

История маленького матросика

Но собирать милостыню в магазине гораздо труднее! Поцарапаешься в чью-то спину, попросишь копеечку, а дядя сплеча и отвесит тебе копеечку! Начнешь выступать на тему «дяденька, подайте еще побольше», а тебе резонно возразят, что ты ведь столько и просила...

А ведь самая маленькая порция мороженого стоила три рубля!

Формулировка «подайте копеечку», скорее всего, осталась в репертуаре нищих еще с дореволюционных времен, когда копейка что-то стоила. Так сказать, «при старом прижиме», как говорили бабушки-контрреволюционерки.

Мой дебют состоялся в большом продуктовом магазине.

Там нищие стояли у кассы как бы почетным караулом, тихо шепчущим свои мольбы коридором. Покупатели проходили сквозь строй побирушек, идя платить, а на обратном пути шеренги почти смыкались, и попрошайки, голодающие, несчастные, сырые и больные, безногие, слепенькие, протянув робкие руки за мелочью, образовывали тесный живой туннель.

Сейчас я вспоминаю, что покупали в этом магазине мало, очереди в кассу не было.

Высокие потолки, пустота.

Тогда товары не лежали на полках, их иногда привозили и «выкидывали», а покупатели бежали, вставляли в хвост «за крайним» и в результате «доставали».

Я заняла место в самом конце череды нищих, далеко от окошечка. Надежды не было.

Однако ситуация вдруг поменялась. Весь этот почетный караул по бокам кассы надоел кассирше. Она стала кричать из своего окошечка, и нищие покорно, как побитые собаки, отошли и встали к дальней стене. Я одна осталась на месте. Мало того, я прибилась к самой кассе. У окошечка кассирши был такой карниз, лоток, чтобы, видимо, сдача, которую сгребали, не падала на пол.

Вот в этой нише, под карнизом, я и спряталась от глаз кассирши. Но я не помещалась там целиком и склонила набок голову и так стояла.

И тут началось! Люди стали подавать мне как заведенные. Кармашек моего сарафана под свитером быстро раздулся. Я ничего не могла понять. Это был дождь мелочи!

Я струсилась. Что-то непонятное происходило. Почему они все мне дают?

И тут я всё поняла: моя склоненная набок, неудобно

вывернутая голова под карнизом кассы. Они думают, что я больная! Калека!

Как я предполагаю сейчас, на моем довольно подвижном лице застыло выражение нечеловеческого страдания, поскольку стоять в одной, да еще и искривленной, позе — самая страшная кара для ребенка. Я совершенно честно мучилась. Но и уйти, когда всех выгнали, а ты спряталась, да так удачно, нельзя. Я терпела и страдала. Возможно, что у меня было несчастное красное личико и брови трагическим домиком. Такая святая мученица-ребенок с вывернутой кривой шеей. Сердца людей разрывались от жалости.

Все нищие, наверное, примелькались уже, их воспринимали как людей без трагедии — ну, такое у них место работы. Ходят как на службу. Делать им нечего.

И тут появилась новая девочка, да еще калека, неприкрытое горе!

Окончательно меня добило то, что от стены отделился мальчик-нищий, его послал одноногий отец-нищий. Мальчик-нищий, глядя на меня во все глаза, подал мне копеечку и торжественно, свершив доброе дело, вернулся к своему плохому месту под стеной.

Как только я поняла всё, мне стало стыдно до настоящего ужаса. Сердце ушло в пятки. Это был бы позор, если бы они узнали, что я на самом деле не больная! Меня как кипятком обварили. Я, видимо, еще больше покраснела. Люди стали нагибаться ко мне, подавая, что-то спрашивали. Надо было бежать. Держа голову к плечу, еще больше крюсь, я отлепилась от кассы и проделала путь к выходу из магазина (мимо своих собратьев-нищих), но и некоторое время на улице все сохраняла свою кривую позу. Только зайдя в какой-то двор, я спряталась в кусты, села к стене и посчитала свое богатство. Мне подали четырнадцать рублей!

Можно было купить мороженое. Оно стоило три рубля самое маленькое, девять порция побольше и двенадцать самая большая. Но у меня была мечта о кукле! Я воображала себе эту огромную куклу! И я помчалась в маленький магазин, в лавочку, торгующую бумажным товаром и игрушками, куда я наведывалась обычно просто так и простаивала столбом над стеклянным прилавком. Меня там уже знали и регулярно выгоняли — но теперь было другое дело, я сказала, что у меня есть деньги. Ко мне отнеслись настороженно.

И я, терзаясь, выгребла всю мелочь на прилавок. Продавщица сурово посчитала. Я, замирая, показала на куклу за ее спиной. Но оказалось, что моих денег хватило бы только на самое дешевое в

этом магазине. Под стеклом в витрине лежал мальчик в матроске, матерчатый, с целлулоидной головой. На более дорогую девочку я не поднялась. Я с невыплаканными слезами, потеряв все свои надежды, взяла моего мальчика и спрятала его за пазуху, за воротник подаренного мне зеленого свитера. Я подумала и прижала его к себе. Он был мой! Моя собственная куколка! И тут я помчалась по улице, высоко подпрыгивая от счастья. У меня был маленький мальчик!

Когда я вбежала в свой двор, куклы у меня за пазухой не оказалось, я ее уронила.

На этом удача кончилась. Я поняла, что все было справедливо. Я обманула всех, и Бог меня наказал. Мой маленький матросик лежал у меня на груди недолго.

Удивительно, но так происходит в жизни, наказание следует за преступлением. Только очень большие злодеи уходят от кары, но их оберегают (курируют) совершенно иные силы, как мне кажется.

Скоро после этого горя у меня началась другая жизнь, совершилось чудо.

К тому времени, к началу июня 1947 года, я, спустившись с балкона, давно жила на улице, то есть во дворе, и меня уже успели удочерить, это была женщина с соседнего двора, которая потеряла своего ребенка. Она жила в одноэтажном домике под деревом, в густой тени. В комнате этой женщины царил полумрак, над кроватью висела увеличенная фотография умершей девочки с прикрепленным черным бантом. Тетя меня мыла в корыте, и это было жутко противно. Чужие руки трогали меня, фу. Я не помню, но, возможно, она помазала мою голову керосином. Я поспала под портретом недолго, одну ночь, и убежала к себе во двор. Портрет, портрет, всегда портрет с устремленными на тебя глазами! И женщина, вечно темная, маленькая, озабоченная, которая почти не смотрела на меня. Она в полутьме доставала из шкафа драгоценные дочкины одежды и, сомневаясь, поглядывала в мою сторону. Она явно хотела привыкнуть ко мне и пока не торопилась раскрывать все свои богатства, но я ушла гулять во двор и не вернулась. Я почему-то ждала свою собственную маму, которая уехала четыре года назад в Москву учиться и пока что не приехала, только посылала небольшие деньги, на что мы и покупали по карточкам хлеб и, изредка, керосин.

Я, вольная как птица, лохматая, вся в расчесах от клопов и вшей, видимо, уже пыльная после помывки (зеркал в те времена не было, я не видела себя, как все бродяги), бегала по двору, не зная своего будущего, но прискакали довольно взрослые дети соседей сверху из нашего подъезда, дети врагов и сами мои враги, они меня всегда гоняли и били, парень и девка, брат с сестрой, я их боялась и спряталась за угол, но они вдруг весело, как друзья, закричали издали, чтобы я шла к ним домой, меня ждет мама!

Вот как получается в жизни! Твои недруги, мучители вдруг поворачиваются к тебе совсем другими лицами, светлыми, добрыми. (Потом я наблюдала это не раз.)

Я заартачилась и не поверила. Домой к врагам? Какая еще мама? Та черная тетенька с портретом на стене? Но они кричали: «Мама, мама твоя приехала! С Москвы!»

Нечто невероятное! У меня закружилась голова.

Но уличные дети никому не должны доверять.

И не хотят ли они меня обманом вернуть домой? Под ключ? Или сдать в детский дом? За мной охотились две тетеньки из какого-то отдела, чтобы отправить в детдом, я их боялась как огня. Однажды я уже напоролась — поскребла ногтем по чьей-то спине со словами «подайте копеечку», и вдруг передо мной, повернувшись, возникла та самая тетя как из страшного сна и сказала: «А вот ты где!»

Как я от нее тогда бежала!

Но я пошла с моими врагами. Мы поднялись, прошагали мимо двери нашей квартиры, за которой меня напрасно ждали бедные бабушка и Вава, покинутые мной. Мы поднялись этажом выше, и меня ввели в комнату, где за столом сидела моя собственная мама!

Я поперхнулась и зарыдала от счастья, меня как взорвало. Я не видела мою дорогую четыре года. Родное лицо улыбалось мне, но появились и ямочки под глазами (они возникали, когда мама хотела плакать от умиления, например, когда она видела меня после разлуки; и точно такие же ямочки теперь у моей дочери). Моя мама усадила меня и стала как маленькую кормить с ложечки манной кашей, которую она специально в ожидании сварила — с молоком, маслом и сахаром. Меня вырвало. Потом я помню, что мама меня обмыла и на руках понесла в баню, я ужасно стеснялась, что меня тащат у всех на глазах, здоровую дылду, но мама оставила меня пятилетней и привыкла, что дочку можно носить. В бане меня постригли наголо, оставив только чубчик, а уже ночь мы провели на деревянных брезентовых раскладушках под названием «козлы», ударение на «о», на чистейших белых простынях, в огромном зале в аэропорту, среди десятков таких же спящих. Я спать не могла. Запах свежего белья, высушенного на солнце во дворе! Мама рядышком и спит, держа меня за руку!

Это было девятое июня. Я всю жизнь помню эту дату. На исходе ночи нас подняли, посадили в самолет, в котором железные скамейки тянулись вдоль бортов, как теперь в метро. Мы летели очень долго, самолет швыряло, он проваливался в воздушные ямы, душа уходила в пятки.

Мы прибыли на место утром. Я была в новых коричневых сандаликах, надетых на носки, на мне были трусы, майка и ярко-красное платье! Еще у меня было большое коричневое клетчатое пальто. Я чувствовала себя как Золушка на балу, совершенно не в своей тарелке. Начиналась новая жизнь.

Забегая вперед, скажу, что мне там не оказалось места.

В Москве, куда мы приехали на автобусе, стояла пасмурная раннеутренняя погода, озноб прохватывал. Легкий туман скрывал противоположную площадь Свердлова, когда мы стояли под светофором у Малого театра напротив «Метрополя». Или солнце еще не взошло. Я не выпалась, было холодно, мама так и держала меня за руку, с первого взгляда, как будто боялась потерять.

Никому другому я не разрешила бы водить себя за руку.

Помню, что передо мной простерся пустынный Охотный ряд, который мы должны были перейти, чтобы попасть в гостиницу «Метрополь», где нас ждал мой прадедушка Илья Сергеевич, Дедя, — и меня потрясло, что очень мало машин стояло у перекрестка. Я-то была воспитана на трофейных американских фильмах типа «Сестра его дворецкого» в родном ОДО и ожидала, что мы с мамой прилетим по меньшей мере в Нью-Йорк с его потоками машин!

Но мы прилетели в Москву.

Мы вошли в дедушкину квартиру в гостинице «Метрополь». Сюда меня принесли из роддома, здесь я жила первые годы своей жизни. Это был вроде бы мой родной дом.

Но я уже была совершенно неуправляемым, диким ребенком после войны, после разлуки, почти Маугли. Как бы сейчас сказали, я была асоциальна. Жизнь, которую мы вели в Куйбышеве, была жизнью отщепенцев, париев, юродивых. Враги народа — это не пустая фраза, мы были враги соседей, милиции, начальства, дворников, прохожих, обитателей двора всех возрастов. Нас в ванную не допускали, стирать не разрешалось, да и мыла не было. В свои девять лет я не ведала, что такое туфли, расческа, носовой платок, школа, что такое дисциплина, например. Я не знала, как усидеть неподвижно, читала я чаще всего на четвереньках, проглатывая книги с бешеной скоростью. Ела тоже мгновенно, преимущественно руками, запихивая в рот огромные куски, и вылизывала за собой дочиста. Круглый год я ходила босая (зимой безвылазно дома). Я не знала простынь. Вши и клопы разъели мои руки от плеча до локтя, и так, что от расчесов не оставалось живого места. Ступни и кисти рук были серые, в кровавых цыпках, в гное, трещинах и ссадинах, а ногти черные, как у обезьянки.

Только волосы и глаза были, наверное, прежние, детские. Но волосы мне остригли.

Вот какую девочку получила моя мама.

Разумеется, я мешала своему прадедушке в гостинице «Метрополь», у него там была только одна комната, и мало кому нравилось присутствие вышеописанной буйной натуры девяти лет в таком чинном партийном гнезде, как «Метрополь».

Мама пошла на работу, Дедя по делам. Мне стало скучно, требовалось действовать.

Посидевши в одиночестве, я стала рыться в письменном столе и обнаружила в ящике у Деди банку с серебряными полтинниками. Они были такие красивые!

Я села на подоконник.

Внизу, во дворе, бегали и орали как резанные мальчишки.

Я с высоты своего положения стала по-царски кидать им монеты и страшно забавлялась, глядя, как они переполошились, бегают за монетами и дерутся!

Каждая новая монета вызывала у них взрыв бешеной активности и мордобой.

Они уже с надеждой смотрели вверх, а я, довольная, пряталась.

На следующий день я выволокла в коридор прадедушкиного деревянного игрушечного коня. Вернее, это был конь отлетевшего Сережи-летчика, моего юного деда. В дополнение к чему я нахлобучила на себя тяжелую непомерную Дедину буденновку (целый прибор, суконный шлем с длинными кусачими ушами и шишаком!). Уголок козырька доходил мне почти до подбородка, и пришлось задирать голову, чтобы видеть пол. Кроме того, я стянула тяжеленную саблю, мирно висевшую у деда на ковре, взяла ее в руки и в таком виде начала бороздить на коне длинные коридоры «Метрополя», отталкиваясь ногами от паркета и крича на скаку «Ура, товарищи! В бой!».

Что там было между взрослыми после моей кавалерийской вылазки, я не знаю. Сабля оказалась неподъемной, она в конце концов повисла у меня через плечо на какой-то тряпке и волочилась с лязганьем по полу, и представьте себе этот вид — в чинном коридоре «Метрополя», подпрыгивая, грохоча и царапая наборный, навощенный паркет, загребая ножками, движется огромная буденновка на игрушечном коне, а за ней тянется, звякая, еще и сабля. Я была очень маленькая и худая, в детском доме впоследствии у меня было прозвище Москвичка-спичка.

Леночка Вегер

Поэтому, наверно, мама срочно вывезла меня из «Метрополя». Нас, короче, дедушкина родня попросила вон. На первый случай мама переправила меня в Серебряный Бор, на дачу к нашей почти родственнице, старенькой Мамаше (это было ее прозвище). Я приходилась ей двоюродной племянницей внебрачного сына одного человека, Сережи Судьина, которому Сереже Судьину Мамаша, в свою очередь, когда-то сдала койку в Казани, его привезли из маленького города поступать в первый класс гимназии, это называлось тогда «нахлебник», то есть койка была с питанием. Там, под присмотром Мамаша, он и вырос.

У этой Мамаша Сережа Судьин при наличии ее собственных детей числился самым любимым ребенком. Он стал революционером. И женился он на шестнадцатилетней Леночке Вегер (которая позже, уже посмертно, оказалась моей двоюродной бабушкой). Леночка, хорошенькая как ангел, пришла селиться в комнату к мужу одна, так как он был занят на работе. Она в то время тоже уже ходила на службу, заведовала детским очагом (так назывались ясли). Леночка вошла, опустила голову и увидела, что на ее блузке не хватает пуговиц, остались только тряпочки (тогда пуговицы обшивались материей и шли от ворота до юбки часто, в два ряда). Леночка сказала: «У меня пуговицы оборвались». А Мамаша уже ее полюбила и ответила: «Ничего, я пришью».

(Недавно я услышала следующую историю, относящуюся приблизительно к 1925 году. Дело происходило в «Метрополе», в семье моей бабушки Вали. Как-то в воскресенье утром маленькая Люля заболела, предположительно scarlatina, и второго ребенка надо было изолировать. И мою будущую тетю Ваву (ей стукнуло одиннадцать лет) мать отвела к этой своей сестре Леночке в гостиницу «Националь». В «Национале» Леночка Вегер, заведующая секретариатом Калинина, занимала номер на втором этаже, первая дверь в тупичке справа от парадной лестницы. Это было воскресное утро. Никакой еды у Леночки в комнате не имелось, даже хлеба. Все сотрудники Кремля обедали в кремлевской столовой, и им с собой еще давали сухой паек, сверток с провиантом на ужин. (Впоследствии все, что выдавали «контингенту» в течение многих десятилетий в так называемых кремлевских столовых — а по сути, в закрытых городских магазинах, — так и называлось, «сухой паек». Куры, фрукты и овощи, икра и балыки, даже нежнейший хлеб и какое-то специальное молоко.)

Маленькая Вава стояла там, где ее оставила мать, и тут в номер к Леночке безо всякого предупреждения и без стука, видимо со своим ключом, вошел Михаил Иванович Калинин. И тут же, не глядя по сторонам, последовал налево, туда, где находился альков и в нем кровать. Леночка громко сказала ему, что у нее в гостях племянница — которая, кстати, стояла столбом и во все глаза смотрела на обувь Калинина, поскольку он имел на ногах коты, деревенские боты без шнуровки, но с ушками и боковыми резинками. Так-то на Калинине был серый городской костюм с пиджаком, а вот обут он был странно. В котах ходили приезжавшие на базар крестьяне. Правда, у Калинина коты были лакированные, что тоже дико заинтересовало ребенка. Она буквально не могла отвести глаз от котов всесоюзного старосты. Калинин же из алькова спросил, как понравилась девочке Москва. У него, как потом объяснила Леночка, было много детей в деревне, и они всегда приезжали именно оттуда. Леночка тут же взяла стул, повернула его сиденьем вперед, встала за его спинкой и буквально начала наезжать на бородатого дедушку, вываживая его из алькова и не позволяя ему подойти к ней. Во время этой процедуры она сообщила, что девочка живет в Москве, в «Метрополе», а вовсе не приехала из деревни.

Как-то удалось выпроводить Калинина, а потом Леночка сказала своей сестре в присутствии ее детей: «Если бы вы знали, как это трудно». Калинин был ее старше на двадцать пять лет. Судя по всему, кремлевские титаны не ограничивали себя ни в чем по отношению к своим сотрудницам. Каганович, о фамилии которого речь пойдет немного позже, тоже являлся к красавице Леночке при Ваве, но был удален. Робкий Билл Клинтон, подвергшийся нападению, т. е. секшувал харрасменту, со стороны толстой практикантки, по сравнению с советским руководством курит в углу, как говорят теперешние люди, когда хотят подчеркнуть чье-то превосходство.

Но вернемся к Мамаше. Всю жизнь, начиная с первого класса его гимназии, она не покидала Сережу Судьина — до самого его расстрела, а потом Мамаша жила при второй жене Судьина, Фире. Леночку расстреляли примерно в ту же пору, что и ее первого мужа Сережу, в тридцать седьмом году.

И все эти годы Мамаша зарабатывала на жизнь, обшивая всю дамскую округу. Она мастерила что душе угодно. Но особенно «шли» бюстгалтеры, скроенные по французскому фасону — кто-то из клиенток съездил в командировку в Париж, и Мамаша тут же сняла выкройку.

В свое время Мамаша сильно огорчалась, что маленькая шестнадцатилетняя жена Сережи Леночка дома ничего не ест и «ногами болтат». Откуда такое выражение: Леночка в родной вегеровской семье была младшая и любименькая сиротка, после смерти матери оставшаяся едва двух лет от роду. У евреев маленькая сиротка — объект всеобщего поклонения. И чуть что, Леночка впадала в истерику, кидалась на пол и стучала ногами. «Болтала», по выражению Мамашы. Как результат, в шестнадцать лет в Казани Леночка уже была член партии и заведующая.

Существовало у меня с Мамашей и еще одно родство — с другой стороны, со стороны Яковлевых. У Сережи Судьина, великолепного военачальника, позже был роман с красавицей актрисой Марией Яковлевой, сестрой моего дедушки Николая Феофановича. Маруся Яковлева выросла, как все Яковлевы, под метр восемьдесят. Поэтому партнеры в любой труппе были бы для нее низковаты, и она стала театральным педагогом. От ее романа с Судьиным и родился Сергей Сергеевич Яковлев, киноактер, народный артист, сыгравший в фильме «Тени исчезают в полдень». Сережа у моего дедушки Коли был вроде сына, он его выучил в институте, во ВГИКе. Вот какая я была Мамаше родня! Со всех сторон. Внучатая племянница первой жены Судьина и двоюродная племянница побочного сына Судьина.

Тем не менее добрая Мамаша меня приняла. Крошечная, старенькая, совершенно кособокая, сгорбленная Мамаша взяла меня, постороннего ребенка, без единого слова. В доме было полно народу, в том числе и бегали какие-то ее внуки-правнуки, но я ни с кем не познакомилась. Мне это было не нужно. Мне было некогда. Я хотела подслушать, о чем моя мама говорит с Мамашей, но они ушли в дом.

Затем мама, судя по всему, договорилась с Мамашей, поцеловалась со мной (под глазами появились ямочки,

предвестники плача) и уехала. Я заранее тщательно запоминала, откуда мы шли, сначала от метро к троллейбусу, а затем сойдя с троллейбуса (только что не отмечала путь белыми камешками, как Мальчик-с-пальчик), и немного погодя выбралась за дачную калитку, добежала до остановки и уехала на этом троллейбусе обратно к маме. Я рассчитала, что доеду до метро, а там уже все знают станцию имени Кагановича. Но не тут-то было! Я помню сердобольные лица людей, которые маленькой толпой отвечали, склонившись ко мне, что все метро называется «имени Кагановича»!

Начиналось пыльное московское лето, дело шло к вечеру, солнце висело низко, лучи его били мне в лицо, ослепляли.

— Нет, — убеждала я их, — там было, на доме, написано «имени Кагановича»!

— Все, все метро имени Кагановича! — в один голос отвечала мне толпа.

Меня даже подвели к станции метро «Сокол» для подтверждения. Действительно, я прочла на совершенно неизвестном здании точно такие же слова «имени Кагановича».

То есть все было как в сказке про Аладдина, когда он пометил все ворота одним знаком! Будь он неладен, этот Каганович! Люди спрашивали меня, где я живу. Знаю ли я свой адрес. По-моему, они уже были готовы сдать меня в милицию и детский дом!

И тут я нашла выход и выгребла из памяти слова — гостиница «Метрополь». Слава тебе господи! Все облегченно засмеялись и повели меня в метро, и кто-то даже убедил билетеров пустить бедную потерявшуюся девочку бесплатно! (Видимо, я уже наговорила чего-то, наврала этим легковерным москвичам про себя, круглую сиротку, не ела шесть дней.) И через некоторое время я туда, в «Метрополь», заявила! Как потерявшийся Мальчик-с-пальчик, с победой! Мама ахнула, узнав, что я опять у прадедушки. Бабушкина мачеха, бывшая жена Деди, но проживавшая по соседству, — эта мачеха тоже, видимо, ахнула. И меня забрали от Деди и затем быстро отправили в пионерский лагерь.

Оттуда мне было не сбежать, нас везли на пароходе, потом высадили и долго вели вечером по сырой траве, по огромному лугу, при уже закатившемся солнце, на вечерней заре. Запах мятой травы, звон комаров, орава людей с чемоданами и мешками, многие старше меня, темнеет, страшно. Могут побить. Дорогу запоминать бесполезно!

В первый раз в жизни я оказалась в огороженном пространстве без возможности обрести свободу.

Там, в лагере, в коллективе, были свои законы, как оказалось, и я их не знала. Это не были законы дикого двора (беги, ищи, хватай, глотай сразу, прячься, отвечай ударом на удар, никому не верь, зовут — не ходи ни за что).

В лагере меня поразило прежде всего четырехразовое питание (а я все запасала хлеб, держа его в тумбочке), чистые простыни, личное полотенце, общая баня раз в неделю, стыд какой, а также туалет на ряд очков вместо забежать за угол, еще и длинный железный лоток для ежевечернего мытья ног и ходьба строем всюду! В столовую четыре раза в день, в спальню дважды, на линейку два раза по будням и по праздникам еще разок дополнительно. И в лес строем.

Сразу обнаружилось, что я не пионерка, девятилетняя беспартийная, и меня приняли. Повязали галстук. Правда, довольно скоро так же торжественно исключили, под барабанный бой на линейке, не помню за что. За постоянные драки, может быть, а скорее всего, за полную дикость. Я еще молчала о том, что не учусь ни в каком классе никакой школы!

Я тут же растеряла все свои вещи. Осталась только юбка на помочах и белая рубашка (белый верх, темный низ, праздничная униформа пионера). Видимо, они лежали про запас в моем чемодане и так сохранились. Правда, пуговицу от одного помоча я тут же потеряла, и приходилось его заправлять в юбку. Оттуда, из-под подола, он вилял в виде длинного (часто мокрого) хвоста, так как в то лето нередко шли дожди. Разумеется, надо мной смеялись.

Помню, что от таких всепоглощающих трудностей я завела себе в кустах идола, такую веточку, которую воткнула в землю под сосной. Я кланялась ей, я вставала перед ней на колени, складывала руки домиком и горячо ей молилась. В Бога я уверовала еще в Куйбышеве, я сама поняла, что Бог есть. Моя вера выражалась в том, что я тайно крестила себе рот после зевка (подсмотрела в трамвае у одной старушки). Своего деревянного

бога, неструганую палочку, я украсила каким-то цветочком, завила вокруг нее венок, который быстро высох.

Моя предыдущая жизнь научила меня жуткой бережливости насчет продуктов питания, и я хранила за спинкой кровати окаменелые мамины пряники, которые она мне дала с собой, я их берегла на черный день и как святыню, как память о маме, и один раз пришедшая в спальню комиссия с позором вытряхнула их из мешка. Мама сварганила этот мешок из моих бежевых байковых шаровар, зашив штанины. Этому тоже брезгливо удивились.

Господи, как мне было там плохо!

Лагерь воспитал во мне ненависть к проверкам, контролю, коллективизму и, одновременно, восторг до слез перед идущим под военный марш строем. А также личную скромность, нелюбовь и подозрение ко всякой похвале, желание спрятаться подальше, но и наоборот — стремление участвовать во всех кружках: рисовать, петь, танцевать, играть в спектаклях, выступать со стихами, делать себе костюмы и парики из бинтов и, скажем, пакли (пакля добывалась в стенах деревянных бараков). Я так придумала: обматываем голову бинтом и, тыкая иглой наугад, без зеркала, прямо на голове пришиваем к нему паклю. Затем стаскиваем образовавшуюся шапочку и заканчиваем пришивать в лысых местах.

Таким образом я на одном лагерном карнавале сделала себе костюм клоуна — патлатый парик, красный нос, намазанный свеклой, и половник, украденный на кухне, якобы зонтик. Я гуляла и приплясывала под этим половником, как под зонтиком, надеясь получить приз, — сказали, что дадут выпить морсу сколько хочешь! Но меня просто не заметили. Тогда я самостоятельно тронулась на поиски (должен же где-то быть этот морс) и в темноте под стеной кухни набрела на целую бочку морса! Половник пригодился, я зачерпнула красноватого цвета жидкость и хлебнула от всей души, радуясь, что я над бочкой одна и никто меня не гонит, не выталкивает и не говорит, что ты ведь не получила приз, чего пьешь?

В этой бочке оказалась вода, в которой мыли свеклу и морковь, а может, и картошку. Поганный вкус грязной ботвы. Уроки коллективизма на всю жизнь — не ищи халявы индивидуально! И потом: если никто вокруг не толпится — стало быть, это непригодно. Где нет толпы — там искать нечего.

Кроме того, лагерь развил во мне болезненную тягу к справедливости, забастовкам, упрямству в отстаивании своей позиции, склонность к протесту и к мелким обманам типа украсть общественный огурец. А также детские законы запрещали высовываться, жадничать, ябедничать и воровать личное (общее

можно, поскольку все только это и делали).

Меня вернули к маме с пустым чемоданом, в юбке с двумя хвостами, все пуговицы потерялись к концу лета, мама меня устроила на три смены, как оказалось.

Улица Чехова. Дедушка Коля

Следующее наше пристанище было у маминого отца Николая Феофановича Яковлева, дедушки Коли, на улице Чехова, 29, квартира 37. Там тоже фигурировала разведенная мачеха, теперь уже жена деда Коли, с дочерью. И они все свои силы положили на то, чтобы выгнать нас с мамой. Маленькая, сухая старушка сорока пяти лет, мамина мачеха, была настоящим кошмаром для нас. Каждый месяц маму вызывали на заседание суда по иску мачехи о выселении нас из квартиры.

У деда, как и у прадеда, имелась собственная комната, но в два раза меньше, двенадцать квадратных метров, однако с очень высокими потолками, в четыре с лишним метра. И его библиотека (пять тысяч книг) располагалась в шкафах, которые громоздились один поверх другого до потолка. Был отдельный шкаф Библий. Самая большая была неподъемная, в светлой свиной коже с серебряными застёжками. Было первое издание «Бориса Годунова». «Евгений Онегин» стоял в лакированном картонном футляре, тонкие книжицы в обложках из зеленой бумаги, каждая глава отдельно. Как потом предположили оценщики в букинистическом, экземпляр когда-то принадлежал генералу Ермолову. Почему мама тайно продала эту книгу — я долго болела ангиной, гайморитом и фронтитом, и она решила повезти меня в Прибалтику, на море. Была у деда одна моя единственная читаемая книга восемнадцатого века «Описание земли Камчатки» Крашенинникова, у нее был особенный запах старой бумаги, кислый. Прочсть остальные четыре тысячи девятьсот девяносто семь книг не представлялось возможным, так как они все были на иностранных языках, в том числе и немецкое полное собрание сочинений Гёте с кошмарными гравюрами Доре (какие-то рогатые люди). Дед был профессором, я уже упоминала, что он к знанию одиннадцати языков приплюсовал еще и знание приблизительно семидесяти языков народов Кавказа, поскольку для них он составлял азбуки, а некоторым отсталым аулам вообще создавал заново письменность. Кавказские языки, которые ее имели в виде арабской вязи, все переводились сначала на латинский алфавит.

А также дед считается создателем теории фонем (1923 г.) и математического метода в лингвистике. Дед есть в энциклопедиях. Недавно я прочла в «Независимой газете» другой его титул: «отец алфавитов». Он еще в двадцатых годах был готов перевести кириллицу на латиницу. Слависты, русские лингвисты и востоковеды его знают.

Деда Коля был огромный человек под метр девяносто ростом, носил калоши сорок шестого размера (две мои ноги влезали туда). Он был великий молчальник. Его бывшая жена иногда, чтобы ему внушить свою очередную вредную мысль, стучала костью среднего пальца деду в лопатку: «Коля, к тебе можно?»

Его любимое занятие стало разглядывать старые географические атласы Европы. Это уже происходило после, когда его отовсюду уволили, а он был заместитель директора Института востоковедения. Он сидел без копейки денег, дни свои проводил в кресле в прихожей и дымил «Беломором». Ученики и сподвижники его оставили. Он писал крупным, идеально каллиграфическим почерком какие-то тексты на рулонах серой бумаги или листал свои любимые атласы на иностранных языках — там были обозначены даже деревни, и он, видимо, мысленно ходил по старым дорогам.

Деда уволили, потому что он не сразу одобрил статью Сталина «О марксизме в языкознании». Об этом я уже сказала.

Потеряв работу, он перестал спать и ночами, лежа на своей кровати с панцирной сеткой, с силой бил себя по колену и ругался матом, крича: «Берияшка! Винограшка! Чикобашка!»

В. В. Виноградов и А. С. Чикобава были его научными противниками, и это они, судя по всему, сыграли роль в его увольнении. А по поводу Берии скажу, что позже, когда того арестовали, соседи признали в моем дедушке провидца и стали его суеверно уважать.

В те годы изгнания из института он за ночь выкуривал две пачки «Беломора», шепча и изредка выкрикивая свои бессильные проклятия. Дым в нашей комнатухе стоял стеной. Я научилась спать, положив локоть на ухо.

Дед утратил всё.

Он уже был выдвинут на звание члена-корреспондента Академии наук. Он жил как нормальный профессор, кормил свою бывшую жену и младшую, больную базедовой болезнью дочь и содержал еще одну семейку, рыжую толстую тетю Фаню с дочерью в нашем дворе. Он ходил к ним обедать по воскресеньям и спал там после обеда. Я тоже за компанию увязывалась с ним обедать (там было первое, второе и компот!) и потом укрывала его одеяльцем на диване. Однажды я съела, в первый раз увидев такое сокровище, целую банку вишневого компота. Любезная Фаина не сказала ни словечка, я ела и ела. Я никогда не знала вкуса таких вещей и глотала прохладные сладкие ягоды ложками и не жуя, прямо вместе с косточками. Той же ночью с высокой температурой и с диагнозом «острый аппендицит» меня сволокли

в детскую больницу, уложили на операционный стол, стали заговаривать мне зубы, тем временем привязали руки-ноги к столу и надвинули на нос и рот колпак, откуда вместо сладкого воздуха полез ядовитый, раздирающий легкие газ эфир. Как казнимый человек, я начала рваться и мычать, просила вздохнуть разок. Дали. Потом опять безжалостно насунули эту маску с эфиром, и на этот раз казнь была доведена до конца. Меня удушили. Я опять задохнулась, билась, стонала, вопила, плакала, но была уже крепко привязана и должна была смириться, обессилеть, безвольно размякнуть и умереть, и довольно быстро очутилась летя в большом туннеле, через который косо и часто сек свет как дождь, ядовитый и жгучий, резало нос и гортань от запаха этих острых, бьющих насквозь лучей, я летела сквозь косые яркие струны разьедающего света, в ушах стоял противный свист или звон, как теперешняя частотка, а в конце туннеля было ослепительно светло, и я туда неуклонно приближалась, а в меня неподвижно били, звеня, отравленные, тончайшие, заостренные, пронзающие насквозь длинные иглы. То есть полная картина клинической смерти, как ее описывают...

Кроме книг, дед имел в этой комнатке полуторную кровать с панцирной сеткой и никелированными шарами на спинках, огромный письменный стол красного дерева, кресло, шкаф для рукописей с выдвигающимися папками, каждая с тесемками, и большой квадратный обеденный стол.

Попытка уместиться

Под этим столом и спала с сорок третьего года, поступив в ГИТИС, моя мама. Стол имел огромный недостаток: в пятнадцати сантиметрах над полом там проходила по периметру толстая деревянная планка, и спать можно было либо ногами поверх планки, что было ужасно неудобно и больно, либо с трудом засунув ноги под нее. Поэтому мама соорудила для меня в уголке за дверью, в общем коридоре, ложе на сундуке. Я с интересом спала там, совершенно одна (такое со мной случалось редко), и слушала журчание разных счетчиков (у каждой комнаты свой). Но это продолжалось только двое суток. Соседи под водительством маминой мачехи забрали дедушкин сундук из коридора и на его место поставили свой огромный шкаф. Я пошла спать на пол под стол, под бочок к маме, вполне счастливая. Это у нас был свой домик. Дети обожают жить под столом. Сверху, на столешнице, у мамы стояли кастрюльки, сковорода, крупы, книги, миска для винегрета, тарелки: наше всё. По бокам матраса лежали вещи.

Но мамина мачеха не оставила нас в покое. Ей пришла в голову новая идея, как обустроить нам жизнь. Вскоре пришли грузчики и стали вытаскивать стол из комнаты (он срочно понадобился мачехе для дачи). Мама плакала и ловила сыплющиеся вещи. Я вцепилась в ножку стола, как боевой ребенок, и долго ее не отпускала. Рушилась наша вселенная. Мамина мачеха резко отдавала команды, стоя в дверях. Довольные соседи невинно ходили мимо по коридору. Наконец стол унесли. Мы остались в пустоте. Все наше добро лежало на полу как после бомбежки.

Мама, стойкий оловянный солдатик, не согнулась под этим ударом судьбы. Отплавав и вытерев слезы себе и мне, она вдруг остановившимися глазами окинула новый простор, стала что-то мерить веревочкой, писать на бумажке, и в результате вскоре купила маленький письменный столик и кровать! И все это поместилось! Правда, кровать была с хитростью: днем она укорачивалась (промышленность знала, что выпускать для тесных помещений), а на ночь ее опущенный участок поднимался. То есть днем я могла сидеть за столом на краю нашей кровати, есть и готовить уроки, а ночью мы как люди ложились спать. Правда, было тесновато, восемьдесят сантиметров на двоих в ширину, я была уже не маленькая, к тому же беспокойная. На ночь, от счастья, что я наконец легла, мне обязательно надо было покрутиться туда-сюда, покататься на кровати, поколошматиться головой о подушку, размахивая руками и испуская радостные

вопли. Это называлось «бешение». Прекрати бешение, говорила мама. Ночью, видимо, я тоже вертелась, мама жаловалась на мои острые локти. Мы проспали с ней на одной кровати еще лет семь, пока я окончательно не выросла. Тогда мама приобрела мне раскладушку, и она как-то тоже уместилась! Радости моей не было предела, у меня отдельная кровать!

Из подвигов маминой мачехи упомяну только один. Как-то я заболела и лежала на дедушкиной кровати в жару. Никого не было в квартире, только эта мачеха. В один прекрасный миг мне почудилось, что потолок и стены съезжаются и лезут на меня. Я выскочила из страшной комнаты, в жару и в поту, и помчалась по коридору искать кого-нибудь, и наткнулась на мамину мачеху. Я ей пожаловалась на потолок и стены. Она взяла меня костлявой рукой за плечо, привела в комнату, заботливо заставила лечь, вышла и повернула ключ с той стороны! Заперла! Я не помню, что делала, билась об дверь, наверное. Плакала, орала? И сколько часов это продолжалось и кто меня открыл?

По ужасу это было сравнимо только с впечатлением от детского спектакля в Куйбышевском театре. Я была, видимо, совсем маленькая. Там фигурировал Кощей Бессмертный. Он до поры до времени содержался позади сцены за какой-то дверью, потом дверца эта открылась — и в зеленом, жутком свете он явился целиком, старик-скелет, обросший лохмотьями мха, бренчащий цепями. Он поднимался из подземелья, рос... Я закричала отчаянно, на весь театр. Он приходил ко мне во сне несколько раз. Однажды (сон) я шла по тротуару пустынной улицы, небо как на рассвете, дома были желтые, невысокие, и в окошечке над дверью одного из домов я увидела знакомый зловещий зеленоватый огонек. Дверь должна была вот-вот открыться. Я догнала какого-то прохожего и находчиво сказала ему: «Дяденька, давайте прекратим этот страшный сон». И проснулась.

(Когда я увидела фильм Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии», там был точно такой же эпизод, сон солдата — как он идет по пустынной улице с низкими домами, а это мертвый город, и зияет дверь подъезда, а там с потолка сыплется земля. Позже я написала сказку о городе мертвых, «Черное пальто», там девушка бежала по улице, и она одна была там живая.)

Меня куда-то надо было девать, отдавать учиться по крайней мере. (Главное, чтобы я оттуда не сумела сбежать.)

И вот настал момент, и мама, нажарив на дорогу белых гренок, отправила свою дочку с какой-то попутчицей-теткой в Башкирию, в детский дом для ослабленных.

Была осень. Мы ехали несколько суток, по дороге я всех настойчиво угощала размякшими мамиными гренками. Потом пришлось добираться от вокзала за город пешком. Помню золотой лес, по которому мы шли к детскому дому, парк, запах забродившего палого листа, дыма и, с берега, дух свежести и речной тины. Детский дом, двухэтажный дачный дворец, стоял на высоком берегу реки Уфимки под Уфой.

(Тогда под детдома и дома пионеров отводились действительно дворцы. Правда, под психбольницы, колонии и тюрьмы шли монастыри.)

Там меня посадили сразу во второй класс, выяснив, что я умею читать и писать. Мне выдали тетрадку. Я в первый раз в жизни зажала в пальцах ручку, обмакнула ее в чернила и торжественно стала выводить буквы.

Подошла учительница и сказала:

— Ты почему начала писать с середины страницы? Надо писать с начала.

Я тогда беззаботно вырвала лист и на следующем вывела дату и слова «Классная работа» снова ровно в центре страницы. Как заголовок на титульном листе книги. А надо было на первой строке...

Учительница подошла, посмотрела, велела написать снова. Я опять начала с середины. Терпение у нее лопнуло — и меня отвели в первый класс...

Там я живо стала отличницей. Что не мешало мне вести себя точно так же, как летом в лагере. И, поскольку я уже была пионеркой, меня опять выгнали из пионеров!

Я помню, как заболела ангиной, и меня положили в лазарет. Он назывался еще «изолятор». Я лежала в бреду на чистой белой койке, по-моему, запертая, совершенно одна. Было очень страшно. И я обрадовалась, когда увидела маленькую мышь под соседней кроватью. Я тут же отдала ей припасенный под подушкой хлеб. Она взяла его передними лапками, села на хвост, как белка, и стала есть!

Там, в детском доме, мы готовились к Новому году. Наши воспитательницы все поголовно были ленинградками, которых

вывезли с детьми в блокаду. И они с нами устроили настоящий новогодний концерт — это был театр! Меня нарядили цыганкой, я пела, сидя на полу, в хоре «ляй-ляй-ляй» в цветастых юбках и в платке, а на моей тощей груди висело ожерелье из стеклянных елочных бус! А потом я плясала, размахивая юбками!

Уж что-что, а жизнь цыганского табора мы видели ежегодно, как только спадала вода в Волге. Они ставили шатры на нашем берегу, варили похлебку, это нас и приманивало. Трещали костры, сидел на цепи медведь с кольцом в носу, бегали как угорелые чумазы детишки в комбинезонах с разрезом (детеныш присел, прореха разошлась, сделал свои делишки, вскочил и побежал). Не помню, как они плясали, но я плясала в детском доме точно так же.

После этого за мной стал преданно ходить мой первый в жизни кавалер, воспитанный сын учительницы, беленький второклассник. Я его держала в строгости, как полагается барышне из хорошей семьи, и мы даже с ним ни разу не подрались.

К сожалению, мне не в чем было ходить гулять, я замерзала. И я написала маме письмо с просьбой прислать мне пальто и валенки. И надо же такому чуду произойти, что мама мне прислала огромную посылку с бархатным теплым пальто и валенками! (Наследство от моей троюродной сестры Маришки Вегер, американское пальто на искусственном меху с большой чернильной кляксой справа). Я надела эту замечательную теплую и удобную (в ней можно было валяться на снегу) одежду, а потом в экстазе стала бегать и кружиться по льду пруда. Валенки меня сводили с ума! Как было хорошо и приятно ногам! И тут же я угодила ногой в незаметную маленькую полынью. Нога в валенке провалилась безнадежно. Я вынужденно сидела на льду, протянув свободный валенок, и кричала почему-то «ура, товарищи!». Поэтому меня стали тащить не сразу. Не заметили, что я стала одноногая. А когда вытащили, то валенок ушел на дно...

К весне детей поубавилось, их возвращали на место, в мае вывели последних. Детский дом для ослабленных уходил на каникулы, может быть, его и расформировали вообще. В послевоенные годы был неурожай и голод. Разъехались воспитательницы. Увезли моего друга. Увезли Маню, четырнадцатилетнюю девочку, слабенькую настолько, что она ручку с пером еле удерживала в пальцах, поэтому мы сидели с ней в одном первом классе. Она была высокая, худенькая, плохо ходила. У нее были огромные черные глаза.

Опустел наш большой дом над речкой Уфимкой, на крутом берегу, его закрыли. Осталась только сторожиха с каким-то

мужиком. Я жила у них в домике. Они говорили по-башкирски. (От того времени у меня в памяти застрял счет по-башкирски: бир ике иш дурт биш олте жиге сигес цугес ун. Ун бир, ун ике и т. д. Простите меня, господа башкиры, если что не так. Раньше я знала ваш язык.)

Сторожиha и ее мужик собирали в лесах подснежники на продажу. Я ходила с ними, помогала. Старалась как-то принимать участие в этой непонятной теперь жизни.

Мы собирали цветы на огромных росистых полянах, окруженных высокими деревьями, в утренней тени, когда солнце сидело еще низко. Мы собирали цветы на рассвете, целыми корзинами. Там была какая-то густо-синяя даже трава, в которой сидели крупные белые звездочки подснежников. Надо было рвать нераскрывшиеся бутоны.

Я уже понимала, о чем башкиры говорят (все-таки восемь месяцев среди местного населения! Дети обожают узнавать чужие языки и легко их осваивают, чтобы все понимать и разведывать. Они не могут без информации. Дети прирожденные разведчики).

Башкирская пара говорила о том, что меня, наверно, переведут в другой детский дом, но куда, еще не известно. Не пришло распоряжение. Потому что моя мать меня не забирает. Бросила.

Я этому не поверила. Потом я узнала, что просто мы все такие, мы вечно опаздываем всюду. Даже когда семья Вегеров, моего прадеда Ильи Сергеевича, должна была креститься в лютеранской церкви (вслед за тем молодые Илья Сергеевич и Ася, у которых уже был выводок внебрачных детей, в том числе и моя маленькая бабушка Валя, собирались обвенчаться, узаконить потомков и отдать их в школу) — так вот, и на это важнейшее событие Вегеры опоздали катастрофически. Однако дисциплинированный немец-пастор их дождался, только вежливо спросил: «Варум зо шпет», почему так поздно.

Днем я одна гуляла в лесах. Там была некая заманчивая вещь — пещера Пугачева. Вход в нее, узкая кривая щель, виднелся высоко в крутом обрыве. Говорили, что там огромные пространства. Я долго примеривалась туда залезть и втиснуться, но что-то меня не пустило. Какой-то инстинкт не ходить туда, где тесно. Зато в лесу я набрела на домик, небольшую вроде бы дачу. В окне сидела женщина и курила. Я попросила папиросу. Она дала мне папиросу и огонька. Я вполне профессионально изобразила курильщицу, не кашляла. Женщина с интересом на меня взирала. Откуда появилась в лесу эта красивая дама?

Я думаю, если бы я осталась в этих лесах, она бы меня точно удочерила. Я ей опять-таки наврала, что у меня никого на свете, я

сиротка.

Потом все-таки какая-то тетка за мной приехала, забрала меня, уже имевшую образование в объеме первого класса (это в десять-то лет!), но при этом круглую отличницу. И меня повезли с Урала домой. По дороге попутчицы менялись. Какое-то время я прожила у чужой тети, спала на полу. Вот она, по-моему, жалела меня, так как выразила желание тоже удочерить такую выдающуюся сироту, которая плетет бог знает что. Действительно, что я рассказывала о себе незнакомым людям, это не влезало ни в какие ворота (видимо).

Но я не дала себя удочерять. Я ее сразу невзлюбила как человека, покушающегося на собственность моей мамы. Я своей маме принадлежала полностью. Я ее боготворила. Ее чудесный образ меня, поэтически говоря, не покидал ни на минуту. Согревал меня, сироту детдомовскую (при наличии живых папы, бабушки, дедушки, тети и целого коллектива двоюродных бабушек, дядь и тетя). У меня была одна цель жизни — жить вместе с мамой!

Меня привезли в Москву, и тут же я поехала на три месяца в пионерский лагерь. Это был опять труднейший процесс перевоспитания. В детском доме меня уже уважали как отличницу и артистку. А тут опять исключили — сначала сняли с должности председателя совета отряда, куда выбрали сразу же за невероятную активность и образцовое поведение в первые дни (я думаю), а затем традиционно выкинули из пионеров на линейке. Ясно, за что, за драки, недисциплинированность и т. д. Своих носков, сандалий, носовых платков, расчесок и ленточек я вообще не видела в глаза с первых дней в лагере. Вскоре меня перевели в наказание в отряд помладше. Там я в первый же момент в восторге приняла участие в общей драке, мне сильно наkostenяли, и я продолжала существование уже в том виде, к которому привыкла.

Единственное утешение было в искусстве. Я записалась в хор, в театральный кружок, в рисовальный кружок, в кружок танца. Я надеялась своими талантами пробиться к признанию в этом лагерном сообществе, в коллективе детей войны, воспитанных в условиях тотального голода и школьной дисциплины.

Но я не припомню, чтобы дети уважали кого бы то ни было за пение или рисование. К актерам и певцам они относились презрительно, как в древности к скоморохам. Дети ценили то, что вообще ценится в людях всякого времени, — силу, презрение, молчаливость, собранность, волю к чему бы то ни было, то есть

характер. Самоуважение также котиривалось, но выше всего стояла простая и грубая физическая сила.

Моя репутация держалась за счет одного — на ночь, когда уже гасили свет, я рассказывала в спальне страшные случаи!

Я помню, как в том своем любимом детском доме в девять лет дорассказывалась до того, что все уже спали, а я не могла заснуть и вдруг впала в страшную панику, в первый раз в жизни поняла, что когда-нибудь умру, и начала кататься по кровати и кричать благим матом: «Я не хочу умирать, я не хочу умирать! Не хочу умираа-ать!!! Хочу жи-ить! Ааа-а!» Все проснулись, включили свет, сбежались взрослые, держали меня за руки, я рвалась куда-то и кричала страшно.

Один раз я уже видела смерть — с балкона в Куйбышеве. Прямо под ним стоял грузовик, и в кузове, почему-то на голубых подушках, лежала мертвая девочка, одетая как кукла. Я ревела потом всю ночь.

В следующий раз я безутешно, почему-то не очень громко, скрываясь, плакала осенью 1949 года по возвращении из лагеря. Мама только что мне сказала, что Дедя умер год назад.

Дедя погиб в 1948 году, когда исполнилось десять лет с момента смертного приговора над его детьми Леночкой и Женей (те самые десять лет без права переписки). Он несколько раз сходил на Лубянку, седой, со снежно-белой бородой (малыши всегда принимали его за Деда Мороза и окружали, смеясь). Он писал заявления, где упирал на то, что десять лет прошло, где мои дети. Перед каждым посещением Лубянки прощался. Написал ряд писем Сталину, где порицал начальника НКВД Абакумова за «барство». Потом он пошел с бидончиком на улицу Горького за молоком, стоял в толпе у светофора на углу напротив «Националя», пока шли машины, и его сильно толкнули прямо под колеса хлебного фургона (водитель, шоферша, на суде говорила, что этот дедушка из толпы просто сам бросился под колеса согнутый). В бумагах написали, что он был нетрезвый. Придумали энкавэдэшники убогие. Дедя не пил никогда.

Я провожала Дедю как могла, тихо скуля, почти без слез. Как исполняя какой-то важный обряд. Стояла в темном коридоре и плакала для него. Я тебя больше никогда не увижу. Как же так, я тебя больше не увижу. Дедя мой Дедя.

Мне казалось, что он слышит.

Рассказы

Никому не нужна

История взаимоотношений внутри семьи — почти каждой семьи — это те самые скелеты в шкафу. Моя мама была нелюбимым, неожиданным и нежеланным ребенком со всеми вытекающими последствиями, она родилась через полтора года после старшей сестры. Ждали хотя бы мальчика... Родная мать — и особенно сестра — ее презирали, в основном за что: она уже в подростковом возрасте, будучи высокого роста, вызывала повышенное внимание у мужского населения... Ее провожали прямо до дома. Она почти всегда приходила к своей двери в сопровождении. Наивной она была до предела и такой осталась на всю жизнь, хотя была высокообразованным человеком, два института имелось за плечами.

Из Куйбышева, как я уже писала, моя мама сбежала от семьи по вызову в Москву, учиться в ГИТИСе. При этом она в анкете не указала, скрыла, что является членом семьи врагов народа. Что было преступлением. И что всю жизнь было для нее источником страха. Кроме того, за ней числился еще один грех — тайно уехав на учебу, она некоторым образом бросила меня. Но ведь не на улице же — оставила ребенка своей матери и сестре, мать ее как раз не работала, могла заниматься внучкой, а сестра была инженером, получала зарплату и паёк на шарикоподшипниковом заводе, в конструкторском бюро.

Другое дело, что меня им оставили насильно. Подкинули.

И когда я досталась им в виде подкидыша, мои родные, бабушка и тетя, на своем языке (язык подпольщиков, так называемый язык придворных, а я его уже понимала, но им не сознавалась в этом) говорили об этом довольно зло, а о моей маме говорили, что она за это должна присылать на меня деньги. Тетя уже не работала, ее уволили за опоздание, хорошо не посадили (она скрылась в психбольнице, как я думаю). Но я-то, несмотря на все разговоры, оставалась верной и преданной дочкой моей исчезнувшей матери, о которой слышала только плохое. Видимо, мои родные злились на нее еще и потому, что вместе с ней исчезла у семьи и ее зарплата, и надежда на алименты, которые мама, кстати, не получала, потому что вся эта семья была интеллигентская, боязливая, не умеющая добиваться своего и страшно неприспособленная, а надо было подавать в суд из Куйбышева в Москву и т. д. Чем они защищались — они все время писали письма Сталину!

В Москве мама все-таки, как я понимаю, в суд подала и начала получать эти алименты на меня, насчет чего бабушка с

теткой прозревали заранее и писали ей письма о присвоение моих (их) денег и том, что именно они должны получать алименты, и чтобы она посылала их полностью в Куйбышев (а маме самой, студентке без стипендии, есть было нечего). Она честно переводила алименты в Куйбышев, оставляя себе только на еду и на дорогу. Ходила зимой в шинели своего отца.

Мама посылала им деньги много лет, уже после того как забрала меня. Она очень любила свою сестру и особенно маму. Никогда ни словом их не задела. Всегда знала свою вину.

А какова была моя жизнь с бабушкой и тетей? Летом я дома только ночевала. Что хорошего — клопы, вши, бабушка лежит горой и молчит. Тетя отсутствует, пытается что-то заработать на пристани.

И потому практически все теплое время года я жила на улице, среди своих сверстников — но не общаясь с ними. Они и говорили на другом языке, матом. Правда, чаще просто гоняли меня со двора руганью, а если догоняли, то кулаками и пинками. Приходилось убегать в парк, в огромный Струковский сад. Я была изгой среди детей нашего двора, я не разговаривала как они, и еще — они все-таки были более-менее накормленные, одетые, их мыли хоть раз в неделю и переодевали в чистое. А я даже и среди этих небогатых ребят выглядела нищенкой. Всегда — даже в апреле и октябре — босая. Лохматая, вшивая. Грязная. Мокрая от дождя, мокрая прибежав с реки. У меня нечего даже было отобрать.

Однако потом выяснилось, что у меня было то, что взрослые могли бы использовать. Вдруг одна девочка старше меня, Римка, со мной подружилась, неожиданно подошла. Стала со мной заговаривать, бегала со мной в Струковский сад, ходила к нам домой. Не знаю, сколько ей было лет. Зачем она со мной водилась, со мной, голодной оборванкой, презираемой всеми во дворе, я не знала, но была польщена, хотя и чувствовала себя неловко. Ее влияние на меня так было велико, что я, свободный человек, превратилась в полностью подчиненное существо. Так бывает у детей со старшими друзьями.

И вот произошло то, ради чего она со мной, наверно, и стала дружить. Она сказала, что если пойти с мальчиками за сарай, то они всегда будут меня защищать, не дадут бить другим. Они будут мои мужья. Я понимала, что речь идет о чем-то нехорошем, я стыдилась, долго возражала, не соглашалась, но подруга вдруг сообщила мне, что я так понравилась одному огольцу. Я — понравилась! Это было в первый раз в жизни! Я никому не нравилась, меня все били и гоняли, а бабушка с тетей всегда были мной недовольны, особенно в своих разговорах на языке

придворных. И я как-то растерялась и застеснялась. Римка сказала, что и сама нравится еще одному, и эти двое будут наши мужья. И однажды она повела меня за сараи, и там нас ждали два пацана (по местному — два огольца). Они, как и все ребята, были в трусах, подруга была тоже в трусах и в платье, а у меня трусов не имелось, я ходила в майке, завязанной между ног узлом, и в сарафане. Это вызвало какие-то разговоры у подруги и тех ее женихов, и в конце концов мне было велено снять с себя все. И лечь. Я не согласилась и хотела уйти. Кому я тут понравилась? Все вранье. Эти два огольца меня так же гоняли и били во дворе, как все. Тогда Римка разрешила мне лечь в чем есть, но надо было отодвинуть рукой майку. Потом она сняла трусы, мужья сделали то же самое, и она легла первая. У мужей, стыдно было смотреть, висели внизу живота такие маленькие фигушки. Мужья явно стеснялись и загораживались ладонями. Римка велела мне тоже лечь. Делать было нечего, я ее всегда слушалась, и легла. И на нее прилег один из огольцов, а на меня, на мою майку, другой. Я должна была оттянуть рукой майку, но это как-то не получилось. Я запомнила только, что от моего мужа очень плохо пахнет, как говорили во дворе, «ссаками». Оба они лежали не шевелясь. Было тяжело и противно. Потом один как-то стал слегка подпрыгивать на Римке, непонятно зачем. Дальше наши мужья поменялись местами. Сама эта свадьба была недолгой. После чего, в знак доверия, что мы уже жена и муж, все сходили по-маленькому и разошлись. Они первые, мы немного погодя за ними.

Потом, когда я уже на следующий день вышла во двор, группа больших пацанов повернулась ко мне, и они смотрели на меня издали, матерясь, поплеывая и кивая (плевались в Куйбышеве тогда все, щелкали семечки). То есть они все про меня узнали! Я дико испугалась своего позора. Но Римма подошла ко мне и сказала, что во дворе больше не будут меня бить.

И вот тут-то, буквально через несколько дней, за мной приехала моя мама. Спасла. Как почувствовала.

Но уже в Москве, уже годы прошли, я не могла отвязаться от мысли, что я беременная.

Это был кошмар моей жизни. Когда живот бурчал, я думала, что это у меня или змея там живет, или ребенок. Я же ничего не понимала. И Римки не было, чтобы мне все объяснить.

И до замужества, до двадцати лет, я была убеждена, что самое ужасное произошло. Я даже сказала мужу, что я не така, как все. Но страхи мои, кстати, оказались напрасны.

Все, что произошло за сараями, было игрой, такой репетицией перед чем-то, что должно было последовать.

Возможно, через этот невинный ритуал с мальчишками те взрослые парни давали девочкам понять, что ничего страшного нет, если на тебе немного полежат. Даже двое или больше. Зато не будут бить. И девочка — маленькая, заметим, девяти-десяти лет — должна была пойти, безо всяких опасений, может быть, с неохотой, потому что скучно, неудобно, воняет, но уже не боясь, — куда ей скажут. Зато, скажут, тебя не будут бить. И что-то тебе дадут. Это иногда кончалось смертью. Тогда девочка исчезала. Если оставалась жива, ее использовали сами или стремились сдавать внаем, зарабатывать на ней.

Двор и семья — это первобытная пещера, где ребенок женского пола изначально жертва. Иногда в два-три года.

В детских домах девственниц не бывает.

Поэтому так отличаются судьбы девушек и парней после интернатов и детдомов.

Почему меня мама, забрав к себе в Москву, осенью, после пионерлагеря, отправила в детдом? Первое — я отовсюду, если это было близко к дому, сбегала к ней. Второе — мы ведь спали под столом у деда, и когда он приходил ночевать (а комната у нас была 12 метров, и в ней 5 тысяч книг, это была дедова Николая Феофановича библиотека), деваться-то было некуда. Надо было сразу нырять под стол.

Под столом я читала лежа на животе или на четвереньках. Свет-то был от лампочки, а потолок высотой в 4 метра... Темновато. Быстро заработала себе близорукость и ходила в очках.

А детский дом, куда меня мама отправила осенью 1947 года, был создан по решению ЦК комсомола для ослабленных, там предполагалось усиленное питание, и туда собирали детей-дистрофиков из детских домов. Был же большой голод, неурожай 1947 года и обмен денег. Наверное, дети в детдомах гибли, ведь поварам и сотрудникам тоже надо было кормить семьи. Воровство в детских учреждениях было при советской власти всегда — и продолжается сейчас. Но тогда, видимо, смертность сирот превысила все нормы, если таковые имелись.

Из детдома (где я окончила первый класс) я сразу поехала в пионерский лагерь, а потом, осенью, мама устроила меня в лесную школу в Быково (такой тип санатория для детей с закрытой формой туберкулеза), она там договорилась, что меня посадят не во второй, а сразу в третий класс — уже ведь 10 лет мне было. Ну и начались проблемы с арифметикой. Целый год деления и умножения больших чисел пропущен! Сразу: поделить

150 на 15! Но как? Уголкем! Каким таким уголкем? И, конечно, ни ленточек (я ходила с косичками), ни расчески, ни целого чулка очень быстро у меня не оставалось, пуговицы отлетали, а уж про вечные сопли и лохмы на голове и говорить было нечего. И все время меня били и издевались надо мной. Дело даже дошло до того, что учительница заподозрила неладное. Совсем у меня был забитый вид, наверно. И она при всем классе сказала: «Не трогайте ее, она гений». (Имея в виду, что я перешагнула через класс, из первого сразу в третий.) И, когда закончился урок и мы должны были строем идти в столовую, все присмиревшие мои враги ждали, пока я первая встану от парты, выйду и возглавлю строй. И я вышла и возглавила, и повела эту колонну недругов обедать, но почему-то для большей торжественности захромала. Однако этого хватило ненадолго. Мне «гения» не простили. Драки начались тем же вечером, прямо на лестнице — мне хорошо, сверху, дали по затылку. Я кинулась на обидчика с диким криком, опрокинула (по-моему, он ошалел от такой реакции, обычно я старалась убежать), сволокла вниз, села на него верхом и колошматила, а сама громко рыдала. И чего я, победитель, плакала? Сама не понимала. Но запомнила это на всю жизнь.

Отметки у меня были плохие, однако моя мама (она все время меня спасала, это была ее жизненная цель) была убеждена в том, что мне полагается самая лучшая школа Москвы, и она добилась своего — меня по распоряжению РОНО (районный отдел народного образования) приняли в 635-ю школу, располагающуюся на Петровке. Это было образцовое учебное заведение — с натертым сверкающим паркетом вишневого цвета, с цветами на чистых окнах, с приличными девочками из семей номенклатуры (даже из ЦК партии).

Но все у меня оставалось как раньше — сопли, рваные чулки и дикое поведение (Елизавета Георгиевна, моя учительница в начальных классах, держала меня на первой парте, чтобы окорачивать сразу, тут же, на месте, жестким окриком или прямо рукой, если не помогало).

Я никогда не делала уроков, до восьми вечера сидела читала в библиотеке, потом в агитпункте, открытом до девяти, там был шкаф книг и журналы «Огонек» и «Крокодил». Это зимой. А когда начиналась весна, я, не заходя домой и бросив портфель на асфальт, играла с ребятами во дворе в беговую (или круговую) лапту и в казаки-разбойники — или бежала после школы к памятнику Долгорукому, прыгать через веревочку — там собирались все девочки с Пушкинской. Ждала маму с работы. Не хотела идти домой. Там сидел мой одинокий дедушка, выгнанный с работы. Иногда он бессильно кричал, ругался.

Одни двойки у меня были. Только по пению, чтению и рисованию я получала пятерки. Но ухитрялась все-таки переходить из класса в класс. Помню, что меня спросили о работе Ленина «Задачи союзов молодежи», это было в 4-м классе, на уроке истории. Я начала придумывать и напридумывала на тройку. Сказала «учиться», а надо было три раза повторить, как Ленин. Готовила уроки на переменках. Списывала задачи. Диктанты писала на «четыре» (за грязь).

Но на первом же уроке пения в новой школе учительница, русская красавица с узлом волос на затылке и в кружевной шали, спросила: «Чей это там соловьиный голосок?» А рисовала я тогда как и сейчас, первым был стеклянный кувшин. Рисовала портреты. Всегда стенгазету. На всех концертах пела во главе нашего кошачьего хора, все мяукали как могли, я одна вопила за всех. Что ситуации не меняло, я была никому не нужна просто как человек. Подружка была, но в ее свите я считалась последняя. Кроме того, я всегда помнила, что у меня или змея в животе, или я беременна.

Что касается тех родных, которые у нас имелись, то они не слишком общались с нами. Мы были с мамой бедные родственники, семья врагов народа. Когда маму клали в больницу, меня брала мамина тетка Вера Ильинична, я ее очень любила (это Лика в пьесе «Московский хор»). Вечная проблема, как жить среди людей, которым ты не нужна.

Отца я вообще реально увидела только в 13 лет, и то на один час... Он пригласил нас в ресторан, подарил мне коробку конфет «Красный мак» и попросил маму забрать из бухгалтерии решение суда об алиментах, «буду платить тебе сам, а то неудобно перед людьми, я парторг». Через два месяца мы стали получать алиментов вдвое больше, отец поехал преподавать в Китай...

Ему я тоже была не нужна.

Оставалось петь, рисовать, танцевать, играть в спектаклях, писать стихи и сочинения. Однако не это ценилось в детских сообществах.

Подснежник

Я ходила за Говоровой, это было в четвертом классе. Говорова играла на пианино «Подснежник» Чайковского. Говорова являла собой мою воплощенную мечту, она умела играть, училась музыке. Я, как хищная рыбка, всюду следовала за толстой прекрасной рыбиной Говоровой, девочкой с пшеничными косами и ясными, хоть и небольшими, голубыми глазами.

Это был как бы психоз, причем заразительный. Следом за мной с Говоровой захотела дружить Ленка, существо тоже толстое, но с буйными черными волосами. Ленка сидела позади Говоровой, я на две парты впереди. Ленка все время отвлекала Говорову. Честно говоря, Говорова не была готова к такому обожанию, она являла собой тип девочки-мамы, отличницы-старосты, спокойное розовое, бело-розовое как зефир существо с этими косами, которые она плавным движением забрасывала то одну, то другую за спину. Это была особая такая манера сосуществования девочки и ее толстых желтых кос. Обхватив пухлыми пальцами эту пшеничную плетъ, Говорова слегка подавалась одним плечом вперед и очень спокойно заводила за него свою косу. И все девочки тоже так ходили и покачивались взад-вперед, то одним плечом, то другим, и голову гордо отворачивали то в одну, то в другую сторону. У Ленки косы были тоже (у меня тоже), но они у нее как-то все время топорщились: черные жесткие волосы лезли во все стороны. У меня были простые косички, тонкие беленькие плетенки, собранные корзиночкой за ушами. Я была еще мала. А Ленка уже выросла. Рот у Ленки являл собой пещеру огненную, такой особый инструмент, окруженный толстыми губами, вечно они у нее трескались, пересыхали до корок, горели, вечно рот у нее был открыт, нижняя челюсть отвисала.

Ленка дышала ртом тоже как рыба, как какая-нибудь вуалехвостка, и водила глазами за Говоровой, где бы та ни оказывалась.

У меня к Говоровой была тоже жуткая тяга, при том что имелась всего одна практическая цель: усадить ее за рояль на четвертом этаже в зале, чтобы она играла «Подснежник»! Я сходилась с ума по Чайковскому, по этому «Подснежнику», и еще мне очень нравилось «На тройке», из тех же «Времен года». Говорова играла своими пухлыми, не очень длинными пальчиками, перебирала клавиши. А я, стоя рядом, замирала, как охотничья собака, глядя в ноты. Ноты для меня были тогда филькиной грамотой, но там был напечатан еще и текст, и я

пыталась его петь, «Голубенький чистый подснежник цветок, а рядом сквозистый последний снежок», то есть я считала это словами к данной песне, а Говорова справедливо отбрехивалась, что нет, не слова. Я говорила «Да ты смотри» и пела, но Говорова саркастически кривила губы на своем на удивление спокойном лице и вообще прекращала играть. Тут начинались самые муки. Я беспомощно смотрела, как она аккуратно закрывает крышку, встает, забрасывает косы одну за одно плечо, другую за другое, а затем проводит тылом пухлой ладони пониже спины, проверяя, в порядке ли сзади платье (у нее была такая привычка) и уходит со своими нотами.

Весь мой план спеть «Подснежник» был замешен на слове «репетиция». У нас, как обычно, планировался к концу года какой-то концерт силами класса, и Говорова как самая сильная пианистка обязана была играть. Я же должна была петь, и фокус заключался в том, чтобы и пение, и аккомпанемент происходили одновременно. Поэтому я имела право на репетицию и таскала Говорову наверх, в актовый зал, к роялю. Моя подруга Наташка Коровина с остальными спортсменками класса под команду «Делай!» показывала так называемую «пирамиду», т. е. забиралась по коленям и плечам стоящих внизу и громоздилась наверху, и все это скопище рук и ног замирало на мгновение в каком-то кривобоком апофеозе. Лариска Морева читала с завыванием «Знаете ли вы украинскую ночь» Гоголя, я исполняла на французском языке басню Лафонтена «Ворона и лисица». А еще мы хором и полностью вразнобой орали революционный гимн «Марсельезу», тоже по-французски («Исполняет весь класс!» — провозглашала ведущая Лариска, тоже с завыванием. Она занималась художественным чтением во Дворце пионеров, и я ее презирала за такую манеру выть).

Благодаря чему я на всю жизнь выучила оба французских текста и однажды неожиданно для себя расшифровала строчку из тайного дневника Пушкина, много позже, в Коктебеле. Она была написана сокращенно и по-французски, и в ней встречалось одно слово, которое я хорошо помнила со своего двойного детства. Ну да ладно, это тайна Пушкина, и я ее сохраню.

Но в те времена я была ушиблена Чайковским, видимо, потому что он для меня оказался совершенно недостижимым — я не училась музыке, и у нас не было дома пианино. Какое там пианино! Ничего у нас не было с матерью, кроме матраца. Но я упорно хотела спеть «Подснежник» со словами — дикое мероприятие, кстати.

Говорова, девочка практическая и в табели о рангах стоящая далеко в верхах (отличница и дочь работника Центрального

Комитета Коммунистической Партии, да и староста к тому же), реагировала на мои просьбы отрицательно. Она, кстати, сидела в классе в самом центре рядом с другой отличницей, Милочкой. То была справедливая позиция, и центральная лампа освещала две эти работающие башки — у Говоровой лоб был как у теленка, выпуклый, с двумя буграми, а Милочка имела ясный, как бы светящийся купол над бровями — сейчас я бы сказала, что с легкими залысинами.

Я сидела впереди у учительского стола на первой парте как человек, за которым нужен постоянный контроль, а рядом со мной находилась тихая, бесцветная, со льняными косами девочка Валя. Валя была бледной, недокормленной копией Говоровой, в их семье было множество детей. Они жили в каких-то немыслимой красоты палатах дворца, то есть это и был настоящий дворец, перегороженный на комнаты. Валино семейство обитало в одной комнате, в выгороженном куске огромного двухсветного зала. Высота потолков достигала метров десяти, что ли, и тут остроумный отец семейства построил лестницу и какие-то деревянные полаты наверху, и оттуда всегда гроздьями рук и ног свешивались дети, глядя вниз, как в деревне с печки (дети вроде кошек, обожают забираться наверх и сидеть там, или вниз, под стол, и тоже затаиваться, я уже говорила).

Сейчас это опять дворец в начале Петровки, справа, если спускаться от Петровских ворот от бульвара.

Мне с Валею говорить было не о чем. Она была очень тихая. Она не умела играть на рояле. Она не представляла для меня никакой ценности. Троечница с волосами цвета льна и с синими как подснежники глазами. Косы у Вали были, но тоже блеклые, льняные, бесцветные, настоящие светлорусые, не такие толстые пшеничные, как у Говоровой.

Все мои помыслы были сосредоточены на этой проклятой пианистке, на нашей старосте, которая никак не хотела мне аккомпанировать.

Поэтому я часто оборачивалась и смотрела на Светлану Говорову угрожающе. Я посылала ей записки «На большой перемене репетируем». Она тихо склоняла свой выпуклый, как у теленка, ясный лоб над тетрадами и в ответ никогда не морщилась, не щурилась. Не реагировала. У нее вообще на лице бывало или безбрежное спокойствие, или расцветала скромная, тихая, ясная улыбка. Больше никакой мимики не наблюдалось: странное существо! Кроме того, она была отличница. То есть для нее трудностей не существовало.

Я была двоечница и уроков не учила никогда. По арифметике двойки, по истории двойки.

Мы с мамой иногда не спали ночами, а то и просто вместо сна уходили на улицу, когда дед особенно кричал.

В школе все было чисто, сияющие натертые красные полы, цветы на окнах, девочки в чистых фартучках. Дома, как я уже писала, мы спали под столом, в компании с толпами хищных клопов, которые, как только человек засыпал, выходили из-за книг...

Но, если у человека есть цель, все остальное для него не существует. Я бредила Чайковским. Однако проклятая Светлана играла только «Подснежник», даже «Тройку» не хотела.

Наша учительница, красавица Елизавета Георгиевна Орлова, похожая на актрису Веру Марецкую, всегда зорко следила за классом, держала всех в строгости и лично меня муштровала, чтобы хоть как-то сдержать. Я сидела у нее под носом. Когда все писали, то же самое вынуждена была делать и я: Елизавета Георгиевна живо возвращала мое внимание к тетрадке.

Я любила ее преданно. Я ее обожала. Иногда мне снилось, что мы уже кончили четвертый класс и она от нас уходит. Я просыпалась в слезах.

Мне кажется, что она меня тоже по-своему любила. Но никогда этого не показывала.

Так бывает, что строгие учителя оставляют в душе гораздо более важный след, чем мягкие и добрые.

К декабрю репетиции участились. Наша выдающаяся школа готовилась к Новому году. Нам предстояло отчитаться классным концертом. Все силы были брошены на это. Мне теперь аккомпанировала наша учительница пения, толстая красавица с косой вокруг головы и в белой кружевной шали. Она была такая же полная и медлительная, как Говорова, но гораздо ее горделивее. Ольга Михайловна спросила меня, запевалу классного хора, что я буду петь. Я назвала «Родина слышит», хотя хотела сказать «Подснежник». Хорошо.

Рродина слышит,
Рродина знает,
Где в облаках ее сын пролетает, —

заливалась я на репетициях.

После уроков я шла не домой, на улицу Чехова, а в Столешников переулок, где мама после нескольких бессонных ночей (дед бушевал) сняла койку у приличного и трезвого мужского портного.

У него была отдельная жилплощадь: кухня и комната с огромным, во всю квартиру, витражным окном.

Видимо, до революции это было что-то вроде студии для художника, как я потом поняла, неоднократно и много лет спустя проходя под этим проклятым местом.

А сейчас на большой кровати, как раз против окна, спал портной с женой и сыном, в маленькой детской кроватке справа от окна и ближе к двери спала портновская дочка, у которой была трахома, заразная болезнь глаз, все веки были в гное и как бы порублены, посечены. Ей поэтому купили отдельную кровать.

А мы с мамой ночевали на узкой койке вдоль стены напротив девочки, ногами к портновской семье. Все, что там происходило, было мне прекрасно видно. Жена портного по утрам иногда ворчала, что «сам мне все сбередил», доставала из штанов и рассматривала какие-то кровавые тряпочки. В гости к ней частенько ходила старая Лидка, соседская проститутка, маленькая, сухая пьяница. Она, когда я появлялась на кухне, заботливо произносила почему-то всегда одно и то же, «четырнадцать тысяч». Лидка и портновская жена о чем-то шептались на этой кухне за мутным и прекрасным витражом, освещаемые цветными узорами дореволюционного окна, прятали некие невесомые, хотя и плотные свертки, вообще вели тайный для меня образ жизни.

Сам портной занимался тем, что принимал клиента, обмерял его совершенно профессионально, все записывал, брал аванс и «отрез» на «тройку», то есть ткань на костюм с жилеткой и, как только клиент уходил, уносил этот отрез куда-то, продавал, пил первые дни до потери сознания, а затем на протрезвевшую голову прятался. Его жена привычно плакала. Клиенты страшно, чуть ли не топорами, колотились в дверь. Нам было велено не открывать.

А деньги за койку у нас брала всегда портновская жена.

Столешников веками был гнездом разврата. Здесь потаенно, как наши клопы, в задних дворах гроздьями ютились проститутские семьи, в которых все — от бабок до девочек — зарабатывали, выползая на ночь. Никакая советская власть ничего не могла с этим поделать. За проституцию не было статьи, так как по статистике у нас ее не имелось.

Мама до вечера пропадала на работе. Я приходила из школы в квартиру портного. Вот тут начинались разные неприятности.

Мальчик портного был старше меня, маленький и юркий, и в уме у него, видимо, возникали различные комбинации. Девочка была еще мала и тихо возилась с куклой, временами высоко поднимая голову и глядя сквозь слипшиеся рубцы глаз. Мать ее бегала по делам, притаскивала все те же свертки, которые никогда не разворачивала. Анаша, думаю, там была. Иногда, гремя сапогами, к нам на третий этаж поднималась милиция, что-

то получала от портновской жены и, грохоча по нисходящей, исчезала. Портной же, видимо, предупрежденный ими, переходил в следующую стадию жизни и ударялся в бега, скрываясь от клиентов в других местах. Часто заходила пьяненькая Лидка, ласково со мной разговаривала. Мне было лет одиннадцать.

Однажды почему-то никого не было дома. И вдруг пришли две девочки и куча ребят вместе с Юркой, маленьким хозяином. Весело разговаривали и вдруг предложили мне пойти с ними в соседний дом, на что-то поглядеть.

— Увидишь, — говорили старшие девочки, — че увидишь! Там знаешь, там птицы!

Я была польщена, что такие взрослые ребята меня пригласили.

Мы шли дружной большой компанией, девочки держали меня за руки с двух сторон, как мои лучшие подруги. Я никогда так не ходила, за руки. Мы смеялись.

Это была какая-то совершенно другая, новая жизнь. Я их в первый раз видела. Но я думала, что мне предстоит с ними подружиться, мы бы всюду вместе ходили... Никогда еще никто так обо мне не заботился.

— Сюда! Сюда идемте! Ее тоже ведите! Пусть она посмотрит! Иди, иди! — говорили, оглядываясь, взрослые мальчики, среди которых мелькал малорослый Юрка в тубетейке.

Я им была нужна!

Мы вышли на Петровку и тут же свернули направо, в первый угловой подъезд за рестораном «Красный мак».

Это была темноватая, тесная лестница.

Они гурьбой поднимались впереди, почти не оглядываясь, но глухо пересмеивались. Как-то сдавленно и невольно прыская. За ними следовали мы с девочками. Одна девочка вела меня за руку, другая замыкала шествие.

Тем временем передние поднялись к последнему этажу и пошли еще выше, на площадку перед чердаком.

Я начала потихоньку выдирать руку.

— Сюда, сюда, — успокоительно сказала девочка передо мной. — Сейчас, сейчас.

— Ты! Давай! — Свесился через перила пацан, обращаясь неизвестно к кому. Может быть, к той, которая шла сзади.

Я ей кивнула, освободила дорогу, она поднялась выше меня на ступеньку. Было темно. Свет шел только снизу, с площадки.

Наверху грубо хохотнули.

Верхняя девочка все еще держала меня за руку.

Тут я как-то засомневалась, мне стало душно и тесно, даже как-то затошнило, я вывернулась из потной руки девчонки и

шмыгнула вниз.

Они почему-то не погнались за мной, видимо, это у них еще было не отработано, что делать в таких случаях, и я свободно выскочила на улицу.

Уже темнело.

Возвращаться к портному было нельзя до прихода мамы.

Я поплелась на улицу Станиславского, вошла направо в проходной двор, свернула в высоченное парадное.

Поднялась на второй этаж широкой мраморной лестницы.

И под дверью села на ступеньку.

Это была квартира, где жила моя любимая Елизавета Георгиевна Орлова, моя учительница, с мужем-офицером и двумя сыновьями.

Там я пряталась долго. Из квартиры, слава тебе господи, никто не выходил.

Я пришла к портному уже ближе к ночи. Мама сидела на кухне, ждала. Мы поели и пробрались в комнату, когда все хозяева уже лежали. Юрка, как всегда, у стены. Он затаился и головы не поднял.

Я, как все маленькие дети, боялась рассказывать маме о своих тайных страхах. Но всю ночь я плакала и уговаривала маму вернуться обратно на улицу Чехова.

Я знала, эти меня в покое не оставят.

Теперь я понимаю, что их племя росло за счет приучения все новых и новых маленьких самок к ремеслу. Те две девочки тоже недаром шли наверх, на чердак.

Кто там ждал нас на чердаке, неизвестно. Кто заплатил, тот и ждал. Лидка тоже не просто так к нам ходила и, завидев меня, твердила хозяйке про четырнадцать тысяч. Это были огромные по тем временам деньги.

Мы с мамой ушли обратно со своими простынями и одеялом, с чемоданом, сели в троллейбус, как беженцы. Приехали, позвонили. После долгой тишины дядя Миша Шиллинг, наш сосед, выйдя на звонок, скинул деревянный брус с двери. Мы поздоровались с ним, тихо проследовали по коридору, боясь соседей, бесшумно открыли свою собственную дверь и вошли в комнату, заполненную дымом «Беломора». Дед курил, отплевывался и молчал. Тлел огонек в темноте.

Его совсем недавно уволили отовсюду. Он бешено кричал по ночам, бил кулаком по стене. Ему не на что было жить, некуда ходить.

Тихо-тихо мы шмыгнули к себе под стол и там, скрючившись, постелили простыни и легли... Хорошо дома.

А к Новому году у нас в школе был концерт, и я в коричневых

бантах (ленты выстирать и намотать на горячую трубу батареи) вышла на сцену актового зала перед всеми четвертыми классами. И нимало не волновалась.

— Рродина слышит! Рродина знает!.. Как нелегко ее сын побежда-ает!

Потом Говорова играла «Подснежник», а я упорно, хоть и тихо, но все-таки пела свою главную песню, стоя сбоку за кулисами:

— Голубенький чистый подснежник цветок, а рядом сквозистый весенний снежок... Последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье другом...

В этом все и дело. Первые грезы. О том и речь. Я не могла совладать с собой, я давилась слезами, глотая сопли. Первые грезы. Наша нищая жизнь.

Незрелые ягоды крыжовника

Мама привезла девочку в санаторий для ослабленных детей и оставила там.

Это была осень, и дом, двухэтажный, бревенчатый, с галереями вдоль спален на втором этаже, стоял на берегу большого пруда, как многие барские усадьбы.

Вокруг простирался осенний парк с аллеями, полянами и домами, и запах палой листвы пьянил после городской гари — деревья стояли именно в золотом и медном уборе под густосиними небесами.

В спальне девочек оказался рояль, неожиданное сокровище, и те счастливицы, которые умели играть, играли, а те несчастные, которые не умели, старались научиться.

Девочка эта была я, двенадцатилетнее существо, и я буквально заставляла умеющую играть Бетти учить меня. В конце концов удалось вызубрить песенку «Едут леди на велосипеде», левая пятерня болтается между двумя клавишами, отстоящими друг от друга как раз на расстоянии растопыренных пальцев — большого и мизинца (между до и соль), а правая под это ритмичное бултыханье (до-соль, до-соль) выделяет мелодию, блеск.

Рояль — первое, на что мы кинулись в дортуаре.

Девочка-то попала именно в барскую усадьбу с колоннами, с высокими потолками, дортуар был устроен в зале.

Кажется, после революции это имение было передано детям рабочих, туберкулезным детям рабочих, но к тому моменту, когда девочка доросла до пятого класса, уже всё давно смешалось, и все дети были детьми рабочих, одинаково жили в коммуналках, ездили в битком набитом городском транспорте и ели в столовых, где не хватало мест, так что полагалось выстаивать очередь к каждому стулу, на котором сидел едок. Очереди шли, перекрещиваясь, от любого стола, четыре луча от четырех стульев, и сплетались между собой, голодные очереди, следящие за каждой ложкой, отправляемой в пасть сидящих как баре и не торопящихся никуда едоков, дорвавшихся наконец до сиденья. Все были рабочие, все стояли в очередях за хлебом, картошкой, за ботинками, штанами и очень редко за чем-то роскошным типа пальто.

И в квартире надо было ждать под дверью то ли уборной, то ли ванной, и на остановке надо было ждать, причем в толпе, и не обязательно передние первыми врывались в пришедший транспорт, иногда задние оказывались сильнее и шли по ногам,

лишая слабых, пришедших раньше, того малого преимущества, которое давала справедливая очередь.

Очередь — воплощенная справедливость, и очередь дошла и до девочки, которую мама записала в туберкулезном диспансере на путевку в лесную школу (так назывался санаторий).

И вот, покинув задымленные московские улицы и свою районную школу, сверкающую чистотой, девочка в сопровождении мамы поехала на электричке с чемоданом в лесную школу, где спальня с роялем называлась «дортюар», где в столовой была целая колоннада по бокам и хоры наверху, то есть галереи (бальный зал).

Я не берусь описывать, какова была та девочка двенадцати лет чисто внешне. Как известно, внешность многое показывает, но не всё, внешность может показать, например, как человек ест, ходит, говорит и что он говорит, как отвечает учителю или как бегают в парке, но нельзя никак и никому дать знать, как протекает жизнь внутренняя, никто и догадаться не в силах и судит о человеке по пустым внешним проявлениям. Например, и у преступника идет постоянный внутренний разговор с самим собой, оправдательный разговор, и если бы кто слышал этот разговор, если бы! И у заурядной, обычной девочки двенадцати лет этот разговор шел непрерывно, все время надо было решать, что делать, буквально каждую минуту — как и что кому ответить, где встать, куда идти, как реагировать. Всё с одной очень важной целью, чтобы спастись, чтобы не били, не дразнили, не вытесняли.

Сил у ребенка двенадцати лет не хватает, чтобы справиться со своей буйной натурой, чтобы следить за собой и быть образцом поведения, аккуратности и молчаливости. Сил не хватает, и ребенок буйствует, бегают, кричит, чулки рвутся, ботинки мокрые от этой беготни по уже сырому осеннему парку, рот не закрывается, крик исходит из грудной клетки, потому что идет игра в колдунчики или в казаки-разбойники. И в школе тоже на переменках беготня по коридорам, волосы трепанные, из носу течет, то и дело драки, красота.

Ребенок, оставшийся без матери, должен сам следить за собой — не терять хотя бы вещи, начнем с этого, чтобы было в чем пойти через парк в школу, а не то что один чулок на месте, а другой ищи-свищи по всему дортюару. Исчезают первыми носовые платочки, варежка (правая), шарф, долго ищется шапка, а про карандаши, линейку и ластик нечего и говорить, их нет. Нет вскоре ни у кого в классе.

У девочки даже возникает план написать сказку о той стране потерянных вещей, куда исчезают все расчески (да, еще и

расческа потерялась), ленточки из кос, заколки, ручка с пером, все карандаши и т. д. Из этой страны нет возврата, такая будет сказка.

И вот девочка, порастерявшая все свои мелочи, не может жить без карандаша, ластика и линейки, без расчески, лент и заколок и пишет маме письмо, дорогая мамочка, как ты поживаешь, я живу хорошо, привези мне — и целый список.

Так ребенок, как Робинзон Крузо, должен обеспечивать себя необходимым, в хозяйстве все время прорехи: калоша пропала. Калоша — серьезная вещь, без нее не пройдешь в учебный корпус по сырой аллее среди луж по глине, не прорвешься и в столовую в грязных ботинках, не пустят. Воспитательница Галина Ивановна пока дает большую калошу, и, хлопая и волоча ее, девочка ходит позади всего класса как отщепенец, грешная душа, в разных калошах. Пока мама не привезет новую пару.

Я была средняя по красоте девочка, а тут еще эта здоровенная хлопающая кастрюля, в которой приходилось скользить по глине две недели, туда-сюда, в школьный, спальный и столовый корпус.

А мне очень важно было выглядеть по-человечески, девочка двенадцати лет, шутка ли! В старшем, шестом, классе был маленький Толик, ровесник по возрасту и ниже на полголовы, необыкновенной красоты. Жгучие черные глаза, маленький нос, веснушки на переносице, ресницы лохматые, вообще очи как звезды и все время улыбается — лукаво, как соблазнитель.

Девочка-то была для него высока, но очарование этого юного Гермеса, бога воров, распределялось строго равномерно на всех. Он излучал свою энергию как маленький реактор, бессмысленно, без адреса, на сто метров вокруг. Больше всего Толик был похож на бесенка с золотым лицом, сияние сопровождало его повсюду, а также его вечно окружали мальчики из класса, он всегда был в центре, опасный как острая стрела, обжигающий все глаза. Достаточно сказать, что когда он появлялся в столовой, то та часть зала, где стоял его стол, озарялась каким-то светом, девочке становилось необыкновенно весело, Толик пришел, его глаза укрупнялись как под увеличительным стеклом, они внимательно обшаривали свое царство, где Толик был королевичем, все головы поворачивались к нему, как подсолнухи к солнцу, или это только казалось высокой девочке двенадцати лет, девочке об одной калоше, которая волокла вторую, чужую калошу по аллее, как кандалник, регулярно туда и обратно, на завтрак, на уроки, на обед, в дортуар, на полдник и так далее. Улитка, скользящая на одной подошве, вот кто такая была эта девочка, которая получила колючку в самое сердце, в сердце, вокруг которого росла припухлость размером с крупную ягоду крыжовника.

У всех, у всего детского санатория, у мальчиков и девочек старших, пятых-шестых, классов, росли эти припухлости, и однажды в вестибюле главного дома, где располагалась столовая, в высоких дверях, когда я снимала вторую, нормальную, калошу, мне явился светлый луч Толик, он вошел, и на него тут же налетел какой-то дружок и толкнул его нечаянно в грудь руками.

— У-ю-юй! — завопил Толик дурашливо и томно, — уя! Больно же грудь, дурак!

Он держал ладошку над левым соском. На лице его сияла бесовская улыбка.

«У него тоже, у него тоже болит грудь! — крикнула про себя девочка. — Надо же! Не у девочек одних! Не у меня одной!»

Он явно обратил на меня внимание, что выразилось в том, что луч его внимания уперся в мои глаза. Я, видимо, смотрела на Толика, и мысль явно читалась в этих моих глазах, какая-то важная мысль, и Купидон хотел прочесть эту мысль и уже истолковал ее в свою пользу. Но налетевшие мальчишки мигом повлекли своего кумира в столовую. Так впервые наши глаза встретились.

Мысль же моя попросту читалась так: «Неужели же и у НИХ тоже набухла грудь и болит?»

То, что Толик страдает, привело меня в экстаз. Оказывается, он прост, как я! Такой же организм! Проходит ту же самую стадию! Мы вроде головастика!

Девочка тронулась в столовую как замороженная, причем когда вся школа уже обедала (приходилось волочься с этой калошей далеко позади всех).

Коллектив не любит, когда кто-то ведет себя изолированно, не так, опаздывает, не так одет. Коллектив — а девочка воспитывалась в коллективах с детского садика — карает сурово. Он издевается, молотит по голове, щиплет, подставляет подножку, он отнимает что только можно у слабых, дразнит. Бьют прямо в нос кулаком, вызывая кровянку. Дико смеются при виде большой калоши. Крадут всё (страна потерянных вещей!).

С коллективом, стоглазой гидрой, надо быть осторожной, имеется много приемов, как избежать ловушек. Надо не доверять никому своих мыслей. Если кто узнает твои мысли, конец, сразу расскажет другим. Все будут смеяться за спиной.

Нельзя было даже есть тайком свою посылочку из дома от мамы, каменистые пряники. Жадина-говядина! (Другие не жадины.)

Навсегда отбили чувство собственности. Всё отдай!

Летом, в пионерском лагере, бывало даже хуже, никто из взрослых не следил за драками. Накормить бы всех, уложить бы и

поднять бы, вот закон многодетности, о деталях не пекутся.

В лесной же школе классы были небольшие, детей не много. Парк, колонны, рояли и обособленность туберкулеза делали воспитателей внимательными к детям. Воспитатели тоже были из числа безопасных больных. Многие ходили в корсетах из-за костного туберкулеза. Многие и были поэтому учителями здесь, вдали от людей, на свежем воздухе. Станные, умные, необычные педагоги, ушедшие от мира в этот парк, во дворцы с колоннами, в область хрустального неба, тьмы по вечерам, редких огоньков сквозь стволы высоченных деревьев.

Из-за калоши произошла беда, девочка стала изгоем, последней в классе. Она шаркала позади всех девочек, специально отставала, над ней откровенно смеялись.

В конце второй недели, в октябрьскую ночь, когда отряд после ужина тянулся по парку в дортуары, девочка совсем отстала от девочек, шмыгала калошей далеко сзади, а там уже шли мальчики и без воспитательницы.

Девочка оказалась среди мальчиков.

Как волки инстинктивно отрезают дорогу живому существу, стягиваются в узел вокруг жертвы, так и они вдруг остановились перед девочкой в густых зарослях на тропинке, преградили путь, тени, неразличимые в темноте.

Девочка оглянулась и увидела, что и задние, как бы движимые некоей догадкой, подтянулись поближе и затормозили, пододвигаясь медленно.

Как будто они все были охвачены одним чувством, групповым соображением охотников, которое делает всех единым организмом, сбивает в кучу над одним трупом.

Это краткая мгновенная догадка, азартная, недалекая, не глядящая вперед, не раздумывающая о будущем. Сейчас есть цель, она движется, ее надо остановить, схватить. Все догадались об одном.

Что было в их двенадцатилетних головах, в их пустых еще сердцах, в их незрелых организмах, в их неспелых ягодах крыжовника вокруг сосков, — одно: чувство коллективного гона, схватить!

Девочка стояла во тьме деревьев, в кольце, в центре небольшой опушки. Вдали, очень далеко, на краю поля были огни спального корпуса, там еще мелькали фигурки уходящих девочек. Благополучные, в полной безопасности.

Я закричала им. Я издала дикий вопль. Я кричала как труба, как сирена. Это был визг ужаса, непрерывный, хотя слезы заливали глотку.

Мальчики, те, что были впереди, приближались, посмеиваясь.

Были видны их глупо улыбающиеся лица. Они топырили руки, готовясь схватить.

Я стояла на месте и посылала свой крик девочкам.

Я видела, что далекие фигурки стали оглядываться: девочки побежали прочь.

Мальчики сходились. Потом — всю жизнь — я узнавала эту маску бессмысленной, каверзной, поганой улыбки, невольной ухмылки исподтишка, для себя, когда никто не видит.

Их пальцы шевелились. Возможно, в этот момент их ягоды крыжовника надулись.

Я визжала еще громче. Я готовилась дорого продать свою жизнь.

Что они могли сделать со мной?

Деловито, как гурьба хирургов, руководствуясь чувством необходимости или единым инстинктом при виде жертвы, они, в конечном итоге, должны были ее разорвать на части буквально руками и закопать остатки, так как потом надо было скрыть результат охоты. Перед тем проделавши все, что можно проделать с попавшим в собственность живым человеком. Что называется словом «глумление».

Пока же их желанием было заткнуть мне рот чем угодно.

Но: что-то их все же остановило на расстоянии двух метров. Кольцо больше не сужалось. Они ждали. Я рванулась и, дико визжа, помчалась сквозь их круг на волю, в поле.

Калошу я потеряла, неслась как вихрь и догнала последнюю из девочек еще у дверей корпуса.

Она шла, тоже улыбаясь той же поганой улыбкой, когда ей пришлось обернуться на мой топот. Я ворвалась в дом, зареванная, в соплях, но никто ничего не спросил, почему я так орала. Им было это откуда-то понятно, они тоже произошли от темных времен пещер, каждая была потомком такой ловли и охоты. Дети понимают жизнь и легко принимают ее простые правила. Они готовы именно к пещерному существованию. Они портятся страшно быстро, возвращаясь к тому, древнему способу жизни, с сидением кучей перед очагом, с коллективной едой всем поровну, вожакам больше, последним и слабым меньше или ничего. С общими самками. Без постели, без посуды, есть руками, спать на чем стоишь, курить вместе, пить тоже, выть вместе, не брезговать другими, их слюной, выделениями и кровью, носить одинаковую одежду.

В тот вечер все девочки молчали, никто ничего мне не говорил. Как будто произошла какая-то важная, нужная всем вещь, воцарилась справедливость, все утолены.

Они же не знали еще, что я вырвалась.

Что было бы, если бы круг сомкнулся над девочкой, если бы она осталась лежать там, под деревьями? Сбились бы в кучу. Глядели бы жадно. Были бы готовы сожрать глазами труп.

Что было бы, если бы она вернулась живой, но истоптанной, растерзанной общей добычей? Для таких случаев существует слово «опущенный». Все знают из древних времен, что опущенного можно использовать как угодно, можно бить вволю, можно хоть есть ложкой, издеваться, и каждый вокруг может заставить его делать что хочешь.

Это называлось в те времена «не давать проходу».

В городе, во дворе были такие дети, которым не давали проходу, как бы имея на это право, все окрестные ребята.

Им вечно загораживали путь, прищемляли, прижимали к стене на глазах у всех, преследовали по двое, по трое. При виде их смеялись и охотно бросались навстречу.

У преследуемых был вид равнодушной, терпеливой, странно улыбающейся твари.

Спасти их могли только взрослые, но где их взять на все время, на всех дорогах?

На следующий день все было как раньше, не хуже и не лучше. Калошу я нашла по дороге в столовую, вставила в нее грязный ботинок и зашмыгала с утроенной скоростью, стараясь не отстать. Мальчики вели себя как обычно, не упуская возможности дать по шее, дернуть за косу, подставить ножку.

Девочки исподволь следили и ничего не обнаружили.

Если бы мальчишки смеялись, гоготали, если бы они встретили меня особенно, тогда бы все было понятно.

Но по каким-то признакам девочки поняли, что я вырвалась.

Все вернулось на свои места. Только один человек во всем санатории почуял все случившееся со мной, ему как-то косвенно донесли, видимо. Это был самый развитой среди детей, самый вооруженный для охоты — Толик.

Он стал загораживать мне дорогу, причем Толик никогда не ходил один, с ним постоянно были двое-трое дружков.

Он загораживал мне дорогу, шаря своими лучистыми, черными, роскошными глазами по моему лицу, по туловищу, по ногам. Он глуповато улыбался, а его прихвостни, стоявшие всегда на расстоянии, охраняли территорию мрачно. Им было не до улыбок. Не они охотились.

Так прожектора шарят в ночном небе, выискивая нарушение.

Я всегда уходила невредимой, научилась пользоваться взрослыми, любой лазейкой.

Сердце мое страшно билось, когда я обнаруживала впереди засаду.

Это не было то, что называют «он за ней бегает».

Это было что-то другое.

Девочки ничего не могли понять и пожимали плечами.

Одна я знала, что Толик преследует меня, намекая на некий мой позор.

Хотя в классе девочку постепенно перестали трогать. Она как будто отстояла себя могучей глоткой и нестигаемостью. У девочки, как оказалось, был талант страшно кричать, у нее был сильный, необычный голос, от низкого воя до высокого визга. И этот талант проявился в нужный момент.

Это был, видимо, талант кошки, которая, прежде чем вступить в драку, меряется силой вопля.

Кроме того, я была сильно взбодоражена и получала любой ценой одни пятерки.

Тут ведь был не пионерский лагерь, тут была лесная школа, и ребенка мерили не только способностью быстро встать и вовремя прийти.

Пятерку нельзя было вышибить ударом, над пятеркой нелегко было издеваться, над сочинением, которое было прочитано учительницей в качестве образца, не очень-то посмеешься за спиной.

Двойка же, особенно по математике, влечет к плевку на пол, к буйству, прогулкам вне школы, страх перед контрольной ведет к восстанию, невозможность понять дробь — к тюрьме.

В условиях своего московского детства, в этих очередях к стулу в диетической столовой (мама на работе вечно и купила талоны на обеды), в коммуналке на общей кухне девочка не нуждалась в пятерках, будучи защищена любящей матерью.

Здесь, в одиночестве, одна среди чужого объединившегося племени, девочка защитила себя, написав сочинение об осени. Горькая как в лихорадке, она нагромодила описание на описание, хрусталь на багрец, золото на ниспадающие каскады, бирюзу на резьбу, кристаллы на кораллы, и удивленная, даже пораженная учительница по русскому, красавица в хрустящем кожей корсете, костный туберкулез, дала прочесть мое сочинение всем учителям и потом прочла его вслух в классе.

В этом классе, который чуть меня не растоптал.

Дальше больше, я написала стихи. К празднику Конституции в стенгазету. Не те настоящие стихи, над которыми смеются и которые рвутся самым беспощадным образом из ослабевшего человека, как бурное извержение болезни. Я написала стихи, неподвластные насмешке. Стихи, за которыми неминуемо следовало всеобщее уважение. Мы советский народ, мы сегодня сильны — и стоим мы за мир во всем мире. Три куплета.

— Сама сочинила? — спросила, хрустнув корсетом и улыбаясь, красавица-учительница.

Низкое зимнее солнце било в огромное окно, создавая вокруг нее темной головы, обернутой косами, светлый контур, сияние легких вьющихся волос.

Я, таким образом, твердо встала на ту дорогу, где никто не мог преградить мне путь. Мама прислала мне валенки с калошами.

Ночами я уходила в ярко освещенный туалет и, стоя у подоконника, заканчивала уроки, решала задачки и учила правила «жи-ши пиши через и».

«Жо-шо пиши через о», — смеялись мальчишки-двоечники, пусть.

Я пела своим сильным новым голосом, запевала в хоре. Меня поставили танцевать с девочками танец «молдовеняска», мы кружились, притопывали, мчались, скрестивши руки попарно.

Санаторий готовился к Новому году.

После Нового года нас отпускали восвояси, конец.

И я больше не увижу своего мучителя, моего божка Толика.

Толик, Толик, бредила я, какое-то имя как топленое молоко, сладкое, теплое.

Глаза твои как звезды.

Как звезды веснушки твои.

Голос твой как хрусталь.

Светит надо мной лицо твое, твои черные кудри, твой наглый и томный взор.

Он буквально загонял меня каждый раз в угол, нахально и отчетливо произнося какие-то дикие слова, причем смеялся. Причем намного ниже меня будучи. Но крепенький, прямой как стрела, с высоко поднятой головой.

Не пухлый младенец Амур, не женственный Аполлон — а резкий, выгнутый, напряженный туберкулезный мальчик. Точно нацеленный. Знающий свои права.

Я пряталась от него. Я всюду его встречала как наваждение. Я тосковала без него, а увидевши, получала толчок в грудь, как от удара ветра.

Все давно всё видели и уже не удивлялись, застав эту странную парочку, высокую девочку, прижавшуюся к стене, и маленького мальчика, который стоял, опершись ладонями о ту же стенку точно по бокам девочки, и что-то вкрадчиво повторял.

В Толика, как мне казалось, были влюблены все.

Его маленький рост как раз придавал ему царственность, поскольку его слуги и оруженосцы все были выше его, вся свита.

Он шел посреди них как провал, как зияние. Как пустота, все

расступались, и он шел один в этом пространстве.

Мои сны были полны его лицом.

Когда началась эта подготовка к празднику, девочка была как в лихорадке, репетировали то одно, то другое, и неудержимо наваливалась последняя дата, двадцать восьмое декабря.

К концу девочка нашла место где плакать — в раздевалке, прижавшись к чужим пальто.

Я знала, что больше никогда в жизни не увижу Толика.

Девочка двенадцати лет с двумя плодами крыжовника в груди. Отличница неизвестно какой наружности, но все в порядке, валенки с калошами, расческу тоже мама прислала, ленты, заколки. При этом плакала заранее о своей будущей жизни, которая вся пройдет без бога Толика.

Девочка одевалась и, надевши новые валенки с калошами, брела вон из дортуара в заснеженный парк, на ледяное шоссе в солнечный день встречать свою маму — ибо это уже был день отъезда, праздник миновал.

Девочка оглядывалась на волшебный замок, где последние часы царствовал Толик, и плакала под бледно-бирюзовым небом среди резьбы зимы, под каскадами хрусталей, которые ниспадали с деревьев, поскольку ветер дул ледяной и все замерзло, в том числе и слезы. Под чашей неба бриллианты снегов.

Уже пришел Новый год, я пела перед хором как солистка, затем танцевала дикий цыганский танец молдовеняску с бусами и в пестрой юбке, топала в тапочках с белыми носочками с такой же подружкой, и мы неслись, сцепившись руками, в вихре музыки посреди бального зала. Всё для тебя.

Надо сказать, что Толик тоже пел под рояль, у него оказался чистый, сильный высокий голос: Рродина слышит... Рродина знает... Где в облаках ее сын пролетает...

Тут ему было не до глумления, он старался. Он волновался. Он дал слабину, как каждый зависимый артист. Его приветствовали как-то странно, хлопали удивленно. Царь не может хлопотать об аплодисментах!

Потом был ужин и, самое главное, танцы. Венгерка, падекатр, падеспань (девочка Надя, чего тебе надо), падепатинер, я стояла в толпе, и Толик стоял, уже пришедший в себя, озорник, смеялся со своим вечным патрулем. Смеялся надо мной.

Объявили дамский танец.

Я тронулась с места и пошла к нему.

Это был падекатр, старинный менуэт с приседаниями.

Я его не видела.

Мы взялись за руки ледяными пальцами и деревянно прошли весь танец, приседали, он кружил меня за поднятую руку, слегка

приподнявшись на цыпочки.

Это было начало пятидесятых годов, детей учили чинным танцам Смольного института благородных девиц.

Чинный Толик замер, не смеялся, было не до шуток, дело зашло слишком далеко, все его насмешки подтвердились. Скрывать мне уже было нечего. Я плакала, текли слюны.

Толик уважал меня, мое состояние, и даже проводил до какой-то колонны, а потом вернулся к своим.

Я ушла в дортуйр и плакала до прихода девочек.

В наших отношениях с Толиком наступил новый, открытый период, с которым он уже не мог знать что делать, не то что перед тем, когда он легко и просто стоял передо мной, вжавшейся в стенку, и цинично повторял: «Ну что, черт влюбленный? Ну что, черт влюбленный?»

Мама приехала поздно, мы с ней побрели под черным небом по белой дороге на станцию с чемоданом, огни дортуйра сопровождали наш бедный поход. Мама всегда забирала меня последней. Все уже уехали. Как и когда увезли Толика, я не знала.

Больше я не видела его никогда.

Но я его потом услышала, его голосок.

Он начал мне звонить уже в Москве.

Меня позвала к телефону Юлиника, жившая в соседней комнате, дочь моего деда от второго брака. Студентка ВГИКа, художница.

— Тебя, — как обычно вытаращившись, сказала она. — Какой-то парень.

— Какой парень, ты что, — забормотала я, двинувшись в прихожую. — Але!

— Это Толик, Толик говорит, узнаешь? — пропел стальной голос. — Привет.

— А, привет, Ленка, — значительно сказала я, глядя на Юлинику. В прихожую вышла и моя мама. — Ленка Митяева, — сказала я маме.

Отворил свою дверь и холостяк дядя Миша Шиллинг, рентгенолог поликлиники КГБ, высунулся на скопление народа. Ничего не понял, но дверь оставил открытой.

Якобы они все ждали, когда освободится телефон.

Мой любимый дядя Миша даже отслонил свою черную, как в рентгеновском кабинете, портьеру и стоял в голубом егерском теплом белье среди портьер, как принц в драпировках.

— Это Толик тебе звонит, — звенел комариный голос.

— Привет, привет, — ответила я.

Как будто бы магнит содержался в этой черной эбонитовой трубке, всех стянуло в прихожую. Не хватало семейства

Калиновских-Старковских, затем второй из жен моего деда, а также самого деда, курившего «Беломор» в кровати, и истопницы тети Кати.

— А, Ленка? Нет, Ленка. Не получится у меня. Не могу, — лепетала я. И сообщала маме, зажав трубку: — Они в кино идут.

— Новости! Поздно! — эхом откликнулась мама, а дядя Миша и Юлиника чего-то ждали.

На глазах у родни и соседей я разговаривала с самой великой тайной моей жизни!

— А зачем, Ленка, — тускло спрашивала я в какой раз, ибо Толик своим хрустально-стальным голосом приглашал меня прийти к кинотеатру «Повторный».

Я готова была упасть в обморок от слабости.

— Ленка, зачем, — говорила я, мысленно заваливаясь.

Тот, кто покинул меня навеки, тот исчезнувший мир каскадов и резьбы по бронзе, мир счастья, подвигов, чудесных спасений и великой любви — тот мир не мог существовать в условиях Москвы, в коммуналке, среди соседей, в нашей комнате, заставленной книжными шкафами, в которых подло прятались клопы, а спать можно было только на полу под столом.

Хрустали и бирюза, рродина слышит, падекатр, мой плач, ледяные пальцы — все ушло, исчезло, все осталось там, в раю, тут другое дело. Тут я пятиклассница с хроническим ринитом (сопли) и в ежедневно рвущихся коричневых чулках.

Толик, ангел, королевич, маленький принц, не мог стоять в мороз, во тьме в автомате у грязного кинотеатра «Повторный».

Вся душа моя, однако, ныла и болела, со мной говорил любимый, потерянный навсегда.

Толик постарался узнать мой номер телефона и теперь сам приглашал меня на танец, неизвестно какой.

Я не верила своему счастью, я не понимала, что это счастье, и нудно повторяла всякую чушь для внимательных слушателей: мамы, Юлиники и дяди Миши.

Они давно уже всё поняли и с интересом отнеслись к моей партизанской легенде.

— Не, Ленка, не выйдет. Мама непустит, да, ма?

Мама кивала, потупившись.

Я не верила Толику ни на грош и правильно делала, ибо он кому-то начал сдавленно говорить «да кончай ты», а кто-то приглушенно хохотнул, грубо и нетерпеливо.

Вокруг меня сужалось кольцо глупо улыбающихся, напряженных морд.

Но я была далеко от них.

— Тут надо соседям телефон, — сказала я равнодушно (ком в

горле) и положила трубку, вежливо сказав «пока, Ленка».

Толик еще несколько раз звонил, приглашал в кино и на каток, а я все бормотала «зачем это, Ленка».

— Зачем-зачем, — отвечал, посмеиваясь, наглый мальчик Толик.

Ясно, что Толик, гений, вундеркинд, нашел применение чужой несчастной любви, догадался, как ее употребить в дело — но круг улыбающихся животной улыбкой лиц, круг приготовленных для удушения пальцев не сомкнулся над девочкой, остался там, в лесу, там, в заколдованном царстве незрелых ягод крыжовника.

Горилла

Кто ее замечал — да никто. Девка как девка, играла в лапту и даже с ребятами в футбол, носилась в казаки-разбойники, в то время как расцветали во дворе красивые девочки Альбина, Ольга и ее сестра Ирина, все из флигеля напротив большого дома, где было за много лет до того совершено убийство, застрелили мужчину из пистолета, он открыл кому-то дверь. Чуть ли не Альбина его дочь?

Во всяком случае, для нас это был знаменитый двухэтажный флигель с глубоким подвалом, который тянулся через улицу Чехова на ту сторону, все так говорили, но проверять было страшно (потом девочка проверила, прошла одна в полной тьме и вылезла на той стороне у чужой школы из какого-то сарая через стену, загороженную куском оцинкованной ржавой железки).

И ходил через двор Щеник, мальчик из музыкальной школы с аккордеоном, красавец типа Элвиса Пресли — но тогда ни о чем подобном еще не знали у нас. Красавец, чуть ли не крошечные бакенбарды, и чуть ли не кок на стройной голове.

А наша девочка играла в футбол, и если с кем и имела дело (в смысле от кого постоянно бегала), то это был страшный Горилла, Гарик, очень курносый, лохматый: горилла.

Все время пытался поймать девочку, дергал ее за косы, подставлял ножку. Однажды она, запыхавшись, ждала лифта, и тут грянул гром, в подъезд вскочил потный Горилла и в два прыжка схватил девочку и поволок в закоулок у лифта к запертой каморке, лифтерша ушла. Ужас. Девочка заверещала дурным голосом: «Ма-ма-а!», но надежды не было, где там — четыре этажа вверх, кто услышит? Заверещала, нет, скорее запищала, как схваченный заяц, пытаясь вырваться. Горилла вжимал ее за лифт, работая телом, как таран.

— Мама-а!!!

— Да, да! — вдруг откликнулся мамин голос. — Иду, иду!

Ее родное лицо мелькнуло уже рядом.

Горилла исчез сразу.

Мама! Как она догадалась? Как она услышала? И сей же миг спустилась с четвертого на первый, вихрем! Не могла она слышать! Не могла!

Значит, смотрела из окна. Позвала дочку, проследила, что она идет. Увидела, что за ней издали мчится Горилла. Всё сообразила и рванула вниз немедленно.

Вот в такой милой компании девочка и развивалась во дворе, но, как всякий малек, знающий свой слой воды, она должна была

пребывать в этом слое, пока не начнется великое переселение душ, великое движение мальков в те слои, которые уготовила им в дальнейшем судьба.

Кто-то ушел вниз, кто-то наверх, кто-то навеки остался в плоскости двора, чтобы вечно туда возвращаться с работы и гулять там с ребенком.

Девочка бегала в лапту, зимой ходила с подружками на каток «Динамо», но с ней повадился там кататься (рядом) шпана, блатной дядя в сером костюме, черных носках (идиот), куда были направлены по всем правилам шпаны брюки, и он был в черной каракулевой ушанке, да еще и с золотыми зубами.

Раз — и каток поменяла, стали ездить на другой, на ЦДКА, но пока ждала очереди за билетом, там из рук рванули у нее (резко вниз) коньки с ботинками, всколыхнулось людское месиво вокруг, и всё.

В слезах поплелись с подругой Ниной, дочкой нашей дворничихи Грани, в отделение милиции, там записали, что украдено, велели приходить через неделю, пришли опять с Ниной. Усталый милиционер посмотрел на Нину и сказал: «Нашли ваши коньки». И выдал пару старых, больше на два номера, да еще не «гаги», а «канады».

— Это не мои!

— Нет?

Тогда он открыл шкаф, битком набитый ботинками с коньками: «Ищи». Искала битый час:

— Нет моих.

Он встал и сказал:

— Нет? Ну что. Тогда нет.

Девочка заплакала. Других коньков мама не купит, на эти-то со скрежетом собрала. Катастрофа! Всё!

Милиционер потерял терпение:

— Да берите! Берите там какие есть! Вот народ! Выбирайте! (Ему, как потом стало понятно, надо было закрыть дело.)

Замирая от собственной преступности, своровала практически из шкафа не свои коньки, больше по размеру, и каталась на них до десятого класса.

Потом поняла, что это был целый шкаф отобранных у воров вещей, и действительно можно было выбрать самые хорошие, все это благодаря Нине. Каждый милиционер видел в ней родную девочку. Дворники милиции первые друзья. Кроме того, она была такая разумная, трудолюбивая и такая хорошенькая, что все ее встречали приветливо и слушали ее речи со вниманием. С Ниной было просто, за ней надо было заходить, спускаться в ее подвал, где был тесный-тесный коридорчик, розовые грязные стены и где

в комнате (окно под потолком) жила вся семья — мама Грания, дочка Ниночка, сожитель Грани молодой бандит Иванов (густые черные брови, как у обезьяны) и их четырехмесячная Галька. К Нине можно было заходить запросто — не то что к кому-нибудь еще. Ни к кому больше заходить нельзя было. А к Нине девочка забегала совершенно нормально, и однажды забежала, а соседка, тоже дворничиха, татарка Рая, озабоченно сказала: «Не ходи туда». И опасливо исчезла в тесном коридорчике, где двум людям трудно было разойтись, жуткий коридорчик в глубине земли, крашенный адским розовым цветом, всегда ярко освещенный, розовый, страшный.

Девочка зашла в комнату. Там на столе лежала голая Галька, сучила ножками, пол был мокрый, никого. Что-то особенное чувствовалось в этой комнате. Девочка ушла. Потом (во дворе ничто не остается тайной) девочка узнала, что пьяный Иванов изнасиловал Ниночку. Нине на тот момент было четырнадцать лет. Что же, в милицию Грания не пошла, но пошла попозже и заявила, что Иванов держит под подушкой железный прут и грозит убить. Так оно, видимо, и было, Иванову тесно стало в одной комнате с Ниночкой, а деваться ему было некуда. Все дворники друзья милиционеров, как уже говорилось, и Иванова забрали и посадили пока на год, но что с ним было делать, не выпускать же, всем было известно, за что на самом деле посадили этого зверя Иванова. Вскоре там же его и убили, всё. Такова была плата за Ниночку. Сажаят якобы за одно, а казнят за главное, о чем нельзя говорить на суде, чтобы не обидеть невинную жертву.

А весной повеяло запахом весны, засохли лужи, девчонки стали ходить в носочках, опушилась старая липа, зазеленело, зазвенело, и вечерами за флигелем заиграл аккордеон Щеника.

Там, под деревьями, смеялись девочки — Альбина, Ольга, Ирина, недоступные красавицы из хороших семей из флигеля, там вспыхивали огоньки папирос (чьих?) и медом разливался аккордеон.

И однажды, надев все самое лучшее и набросив белый мамин шарфик на плечи, девочка с замирающим сердцем спустилась со своего четвертого этажа и легко, как кошка ночью, как рыбка по воде, заскользила к флигелю, свернула за флигель, туда, где клубилась тьма под деревьями, вспыхивали огоньки и раздавался легкий смех. Труден был ее путь, но там ожидало счастье.

Они обернулись и посмотрели.

Новой походкой, легко и как будто в обычной своей манере, она подошла и встала, влилась в их кружок.

Они посматривали на нее почему-то с уважением, как на новую девушку, и не погнались, не засмеялись, расступились.

Щеник заиграл, и тут из тьмы, где сверкнул огонек папиросы, брошенный на землю щелчком, выступил молодой человек в сером костюме. И протянул руку. Сердце упало. Принц из волшебной тьмы.

Здравствуйте! Это был Горилла.

Он встал рядом с девочкой по какому-то праву, он уже давно тут был и рассказывал анекдотики, и смешил Альбину, Ольгу и Ирину.

Ага. Под сенью ветвей, под журчание аккордеона, в сладком запахе молодой листвы, в прозрачной темноте наблюдать этого Гориллу! Еще чего!

Он протянул к ней руку, глупо улыбаясь, видно собираясь с ней танцевать.

— Отстань, идиот, — сказала по привычке девочка. — Дурак.

Горилла настырно продолжал улыбаться, стоя с протянутой рукой.

Пришлось убежать и никогда больше не возвращаться в тот уголок земли, где в палисаднике, у флигеля, под звон трамвая и журчание аккордеона каждый субботний вечер происходило таинство перехода мальков из одного слоя в другой, из детства в юность. Сладко замирало сердце от вечерних звуков аккордеона, там, внизу, до поздней ночи по субботам, всю весну. Но девочка сердилась и не спускалась туда.

А осенью Горилла исчез. И надпись у его подъезда «Горилла больной», вырезанная гвоздем по штукатурке, пережила его и еще долго виднелась, постепенно съедаемая городскими дождями, ветрами и снегами. Горилла где-то нашел какой-то агрегат, носился с ним, приволок его домой, испытывал, затем заболел, пошел по больницам.

Как многие предприимчивые, резвые мальчишки, которым судьба все пробовать, взрывать, находить, бросать в костер и преследовать, догонять и отбирать, разнимать на части, уничтожать, вечный Горилла, — он так и остался там, в своем детстве. Девочка горько плакала, глядя из окна вниз, где стоял маленький автобус, а Горилла, окруженный людьми, лежал под снегом, смуглый, худой, в своем сером костюмчике, в белых простынях, в гробу на табуретках, руки сложены как у взрослого, Горилла, Горилла.

Всю жизнь спала среди книг, прятала под подушкой, раскладывала по одеялу, по полу, у кровати. На стуле рядом. Ела среди книг, читая. Ехала с книгой, шла по улице, вперившись в страницу. Это сейчас интеллигентные родители стонут, что их дети перестали читать. А тогда моя мама Валентина Николаевна (четыре курса филологии ИФЛИ за плечами и диплом театроведа в ГИТИСе) считала мою страсть наркоманской и воевала с нею. Просто прятала книги. Я перекочевала в детскую библиотеку имени Ломоносова, в этот тайный опиумный притон для уже сложившихся, отпетых читак. Там стояла вопиющая тишина, прерываемая бурчанием в голодных животах и свистящим шепотом малолетних просителей у стойки, тайно умоляющих выдать им легендарную книгу «Тайна профессора Бурого», призрак этого места, фантом, являвшийся только по капризу библиотекарш, причем отдельными выпусками — хождение имели № 5 и № 8. Представить себе только страдания получивших эти выпуски и никогда не дочитавших «Бурого» (до сих пор)...

И в школьном книгохранилище я угнездилась и даже ездила в Ленинку, чтобы там получить «Маленького лорда Фаунтлероя» и «Алису в Зазеркалье». И в агитпункте обосновалась на все вечера, так как детская библиотека закрывалась в восемь, а агитпункт работал допоздна, и там стоял пыльный казенный книжный шкаф («Великий Моурави» в пяти томах Антоновской, «Алитет уходит в горы» и «Семья Журбиных», «Жатва» и бессмертная «Кружилиха» Пановой, недавно перечитывала).

Просторы литературы были непаханы, это сейчас уже более-менее все прочитано по многу раз, и круг сузился до тех авторов, с которыми интересно поговорить буквально по поводу каждого абзаца.

К примеру, Мераб Мамардашвили, «Лекции о Прусте». Начавши их читать, немедленно перечитываешь всего Пруста, затем парочку книг о нем, затем пытаешься читать его в оригинале, сравнивая три варианта перевода и т. д., затем опять берешь Мамардашвили, а после едешь за новыми Мамардашвили, покупаешь «Кантианские вариации», к примеру, и читаешь (с трудностями) обе книги попеременно, ибо этот автор пишет нечто столь важное в каждом абзаце (они у него соответствуют странной, как бы извилистой, петляющей туда и обратно линии, меняясь, мигрируя, согласно выражениям лиц слушателей, возможно, ибо это все просто магнитофонная запись лекций). И

каждый абзац начинаешь толковать сама себе. Жутко притягательный и многослойный текст, требующий уже и твоих собственных записей, иногда даже маргиналий, и получаются как бы куски книжки поверх книжки, сиюминутное поверх вечного...

(Что еще возникает в таких случаях: просматривается личность автора, читатель с любопытством узнает, угадывает, кто перед ним... Это уже старинная игра читателя с книгой.)

У нас в школе было такое смешное слово — «конгениально». Мы его, усмехаясь, произносили, так и сяк примеривали (не зная еще, что оно требует дательного падежа, «конгениально чему»). Мы замахивались на него, глупые высокоразвитые старшекласники. О Мераб, гениальный и конгениальный своим героям, Канту, Прусту, древним, о редкостный человек, пытавшийся разъяснить самые сложные вещи простым языком...

Да, возвращаясь к нашей теме. Всегда существовала эта проблема — достать книгу. Как есть легенда о «золотом веке», так и бытовало в то время стойкое убеждение, что где-то есть вечный источник, но его утаивают, и что там хранится все самое интересное. Пробивались в Ленинку (главная библиотека). Там многое скрывалось уже на уровне каталога, и имя книги, «имя розы», было главнейшей уликой для расследования. Сами же поиски складывались по-разному, тем более что нарисовался еще другой «кастальский ключ» — белоэмигрантское издательство «ИМКА-ПРЕСС», где все повально было как бы из «спецхрана», и кто-то эти книги привозил из-за границы в рукаве, однако все эти метания могли увенчаться двумя-пятью годами шитья рукавиц в каком-нибудь лагере Усть-Вымь. Сколько предательств было совершено во имя Книги и в связи с Ней! Она была орудием шантажа («Если эта ваша моя бывшая жена Соня не разменяет квартиру, я сообщу куда следует, какие книги У ВАС в доме»), объектом наглого присвоения («Ты боялся обыска и отдал мне их, а теперь я тебе их не верну, жалуйся в „контору“, хочешь — в милицию», — подлая усмешка и щелкнувший замок), а также книга являлась той формой собственности, которую не грех было «увести» или просто не вернуть.

Сколько случаев тех времен вспоминается... Когда у нашей подружки в малом режимном городке шел тридцатishестичасовой обыск, то книги перебирались под такой разговор:

— Доктор Живаго? Ничего себе фамилия у доктора. А кто вам книгу эту дал? Как это не помню... Опять за рыбу гроши, гражданка? Все вы не помните... Опять начнем сначала... Так, чья это книжка? Пастернака, так. Имя-отчество Пастернака... Так. Борис Лео... нидович. Ну. И где этот гражданин Пастернак проживает? Так. Что это — умер? У вас вообще уже все

поумирали, смотрите: Платонов у вас умер, Пильняк умер, Флоренский тоже, не говоря... а, вот: Ахматова! Глядите у меня. А то, предупреждаю, вы уже Бердяева шестую книгу на помойке нашли! Это будет вам лишний срок за укрывательство!..

Специально для таких оказий изучали книгу Амальрика «Как вести себя на допросе». Дурным тоном считалось предупреждение «Только не говори никому, кто дал» (ответ звучал так: «Не надо книги, под пыткой выдам»).

Назначались встречи на углу, передавались безобидные пакеты, книжки ездили в метро в чужих обложках или в пластиковых обертках из-под учебников. Партизаны мы были, городские партизаны. За хранение и распространение запрещенных книг давали до пяти лет. Почему требовалось скрывать, ЧБЯ книга, ежу ясно, но и еще имелся немаловажный пункт — к «хранению» прибавлялось «распространение», т. е. дополнительный срок. Нашла книгу на скамейке — и стой на своем.

Диким счастьем были томики Пруста, которые мне выдавала сидящая библиотекаря Алла из тайного неуничтоженного хранилища библиотеки ЦДЛ. Они это берегли в так называемом «фонде читального зала». Чудо называлось «Содом и Гоморра». Я растягивала чтение, не неслась на бреющем полете, как всегда, не глотала, а буквально каждую фразу проходила туда и еще раз сначала, тая от счастья, изучала, развесив в пространстве, эти цветные перекрученные тюли...

Потом мне дали почитать оттиски выпусков журнала «Интернациональная литература» за 1934 год, в которых содержался драгоценный, как бутылка старого вина и беседа вокруг нее, как дружба с веселым и умным разгильдяем, — «Улисс» Джойса в переводе коллектива авторов. О, какой это был для нас солнечный удар! Много позже пришли благородные «Дублинцы», начало всех начал, прообраз новеллистики XX века.

Что же касается джойсовских «Поминок по Финнегану», то эта совершенно закрытая проза доехала до меня в виде перевода на польский, снабженного еще и увесистым справочным аппаратом и историей разнообразных расшифровок текста, которые предпринимались почти сразу же после публикаций первых глав. Автор польского перевода, работавший над ним двадцать лет, Мачей Сломчиньски, доказывал, что ключ к шифру — египетская «Книга мертвых».

Однако у меня возникли свои объяснения: в те же поры любимая дочь Джойса потеряла контакт с миром и была помещена в психиатрическую лечебницу. Не ее ли отрывистый, бессвязный лепет послужил основой для «Поминок по

Финнегану», не эти ли фразы, где есть всё, подлежащее и сказуемое, но понять их не дано никому...

(Когда я сидела у постели мамы в ее последний год, я иногда записывала ее слова — странные фразы, которые человек не мог произнести: «Меня похоронили за старой черной стеной».)

«Поминки по Финнегану» поразили в самое сердце молодого секретаря Джойса — Беккета, позднейшего отца абсурдизма и нобелевского лауреата, написавшего пьесы «В ожидании Годо» и трехстраничную «Воображение пусто, вообразите себе», конец литературы якобы.

Особым для нас было явление Булгакова с его роскошным, смешным и мстительным романом-фельетоном «Мастер и Маргарита», вершиной «гудковского» стиля, к каковому также относятся и олешевское «Ни дня без строчки», и знаменитая эпопея с Остапом Бендером. К моменту опубликования «Мастера» читающий народ изъяснялся языком Ильфа и Петрова и вполне готов был впитать новый виток сатиры — теперь уже издевательство не над простым, убогим народцем провинции и московских коммуналок, где интеллигентами считались растяпы Щукин, Ляпис и Лоханкин, а над высокопарной, модной, опасной столицей, гнездом греха, разврата и промтоварных распределителей, царством обеспеченных писателей рабочекрестьянской и революционной направленности, а также вотчиной критики с летальными последствиями.

Ильф и Петров всех простили, видя народ нищим, но хитрым и живучим, и даже как-то воспели это неожиданное качество нации. Булгаков же, пущенный Гражданской войной с крутого Андреевского спуска, проскакал над Белокаменной как белая (черная) облачная гвардия, прогремел зловещей грозой с дома Пашкова, устроил еще один пожар московский в доме богатой черни, похитил чужую женщину из генеральской квартиры, Маргариту, и всем врагам воздал не хуже рябого усатого грузина Иоськи: кому голову долой, кого сослал без права переписки, кого лишил порток — и здесь понадобился сам Иешуа и его история перехода в вечность, чтобы уравновесить историю победителя, продавшего душу темной силе, и эти две легенды, соединенные в одну, опьяняли нас, мы тогда еще не знали, что Булгаков действительно пытался продать душу, написавши пьесу из жизни начинающего террориста Сталина. Если бы она была поставлена — но рябой Воланд не был ни велик, ни благороден, и он не пожелал, чтобы в его темном прошлом копались. Булгаков погиб, проигравши при жизни этот великий поединок, — литературный самодержец, как всегда, проигрывает реальному, это известно со времен Овидия, но, как и в древние времена, посмертно поэт

всегда займет престол, стоит только опять его начать печатать — так и вернулся к нам целиком мученик Булгаков: его «Театральный роман» был ответом всем, кто царил на театре, — а всем тем, кто убивал, всей этой люмпенской мрази, предназначался пинок в самое «собачье сердце» — роман, в котором, однако, страшная сцена лишения разума возвращает от читателя автору вопрос о дозволенности манипуляций над живым существом. Когда палача казнят, это уже другое дело... (Как говорится, «никто не видел, как волк таскал, все видят, как волка потащили».) Утоление чувства мести — это то, что частенько двигает вперед литературное дело, дает вчерашнему изгою силу прогromеть... Мщение приобретает самые причудливые формы, Достоевский после позорного припадка эпилепсии в салоне Авдотьи Панаевой напишет «Идиота», где, разумеется, изобразит свой собственный вымечтанный строй души. Князь Мышкин потом жил для читающей публики, а не Федор Михайлович.

(Я с этим сталкивалась, читатель видит в писателе его собственного героя, отсюда, кстати, повальное увлечение публики Тургеневым и Хемингуэем и, обратный случай, мучения Зощенко в местах отдыха.)

У Булгакова мщение приобрело характер фантастический — и в «Мастере и Маргарите», и в «Собачьем сердце», в последнем случае прямо даже утопический, счастливый, поскольку на самом деле профессору Преображенскому не дано бы было победить, как и доктору Борменталю, им предстояло сгнить в лагере, а Шарикову и Швондеру, которые заняли бы квартиру профессора, то же суждено было бы лет десять спустя, как и их будущим прототипам, Ягоде и Ежову, — у кого из этих двоих было собачье сердце, вопрос...

Никому не мстил несчастный, гордый Платонов, кроткий, загнанный в угол гений, который поцеловал больного туберкулезом сына в губы, чтобы заразиться и умереть вместе с ним... Памятник ему, одинокий престол, когда-нибудь воздвигнут. И на пьедестале обязательно должно быть написано в числе прочих слово «Возвращение», название гениального платоновского рассказа, моего любимейшего.

Кто еще был нам подарен в юные годы — таившийся в родительских книжных шкафах Зощенко, которого мы, не зная, что он запрещен, тайно читали шепотом в Доме пионеров, давясь от хохота, на репетиции хора, пока раздавали ноты... Пели «Наш Сталин мудрый и родной», а читали, стараясь не шуметь, историю про баню... И про «цоп пирожное и жрет». Никто не понимал этого трагика. Этот оскорбленный смех гордого существа над унизившей его жизнью, хамской, простодырой и

всегда с кулаком, нацеленным в глаз... А что касается языка Зощенко: нет и не может быть вообще у хорошего писателя никаких нормальных человеческих слов, а только текст некоей роли, то Бога-создателя, в случае Льва Толстого, то цадика-рассказчика, как это получалось у Бабеля, а в зощенковском варианте автор выступал в амплуа гениального актера-простака, чья бытовая скороговорка как на кухне над примусом могла бы изображать собой убогий, простодушный и скорый рассказ Акакия Акакиевича, человечка, не видящего трагедии ни в чем, ни в смерти, ни в любви, ну умер у одного зубного врача муж, казалось бы, пустяк, ан нет, не пустяк, где другого мужа найти? И сражается этот человечек с управдомом, с теснотой, с голодухой, борется за два квадратных метра, где постелить тряпку переночевать, за место для примуса, за керосин, чтобы картошки сварить, за шайку с горячей водой, чтобы побаниться... Пока не грянет ленинградская блокада и человек не помрет, а вместе с ним исчезнет и сатирик Зощенко...

А потом настанут иные времена, и из могильной тьмы возникнут безумные тексты Хармса, и мои младшие школьники повально будут ставить спектакли по его книжке, выгребая из шкафов скудный родительский гардероб на костюмы.

— Ма, мы у тебя юбку взяли... И шаль! Скоро начнем!

И через час, двенадцатилетним голоском, угрожающе:

— ОТКРОЙТЕ, ЕЛИЗАВЕТА БАМ!..

Шесть лет (пискляво):

— НЕ ОТКРОЮ.

Вот и жива книга.

Умирающая лебедь

Моя мама очень любила стихи, и, когда в шестом классе наша училка литературы, Умирающая Лебедь, задала нам сочинить стихотворение, мама буквально загорелась. Полночи она меня понукала, дело шло туго, я все зевала. Особенно трудно было найти рифму к слову «босой». Утром я под руководством мамы переписала стишки в тетрадь и отнесла Лебеди. За исключением этого случая, я в родной школе почти никогда не готовила уроков, была отпетой двоечницей и потому всегда сидела за первой партой, чтобы быть на глазах у педагогов.

Через день Лебедь пришла на урок торжественная и злобная. Сорок пять минут, опираясь своим крутым бедром о мою парту, она разорялась насчет воровства, то и дело произнося непонятное слово «плагиат». Из рта у нее, как из огнетушителя, шла пена. Я сидела прямо под ней, на уровне ее вечно расстегнутой на боку юбки. Бедная Лебедь была старушка странная. Красила свою седую голову в ярко-рыжий цвет, но всегда неудачно: волосы оставались грязно-белыми, а вот скальп получался красный, как у индейца. Наш класс она ненавидела неизвестно почему.

Итак, я сидела, тупо наблюдая за колыханием ее живота. Одновременно мы с моей подругой были заняты сочинением оды «На восшествие на престол Софки-Львовки». Софья Львовна была наш крокодил по зоологии, и непосредственно накануне она всему нашему классу поставила прямо на парты мензурки с заспиртованными глистами. Я выскочила вон, прогуляла урок зоологии, получила пару и теперь с законным чувством мщенья сочиняла эту оду.

Речь Лебеди была прервана звонком, и я подошла к ней с невинным вопросом: «Ну как вам мои стихи?» Умирающая Лебедь посмотрела на меня безумным взором и завопила: «Как! Это же я про тебя говорила! Ты посмела украсть стихи у Агнии Барто! Это называется плагиат!»

Лебедь ушла, потрясая классным журналом, я огребла очередную двойку по литературе, всё.

Кстати, стишки у нас с мамой получились такие:

«Тишина стоит в квартире / Номер пятьдесят четыре / Дети спят и кошка спит / За стеной сосед храпит / Только Таня спать не хочет / Хоть уже давно лежит».

Речь шла о Первом сентября. Заканчивалось это дело так, что «Мальчик Томми чернокожий / Он на белых непохожий / Спит на чердаке босой / А под ним Нью-Йорк большой».

Так я себе и представляла, что на чердаке небоскреба спит

несчастный негритенок, до того несчастный, что он даже не имеет права ходить в школу...

Теперь, через много лет, я могу сказать, что любила его. Любила своего учителя как божество.

Небольшого для мужчины роста (к десятому классу я выросла до 170 сантиметров), краснолицый, белоглазый, по виду солдафон, с малоприятным выражением лица, как бы вечно недовольный, Александр Александрович Пластинин. Новый учитель литературы в последнем классе, а что это такое: советская классика, Горький, Фадеев, Николай Островский, чушь, глушь, как теперь я понимаю его муки — ведь он был преподаватель литературы и русской в том числе (Пушкин, Толстой, Гоголь, Чехов, Гончаров, Белинский и т. п.) и мог понимать, что есть что. Однако он преподавал в выпускном классе, и это была его работа.

У массы людей случается нелюбимая работа, но тогда это было обычное явление. Да и многие десятилетия позже. Тоскливая каторга, отбывание часов, если человек не работал больше трех-четырех месяцев, его сажали за тунеядство!

Александр Саныч приходил в наш страшный класс недовольным.

Это был страшный класс, поскольку год назад женские и мужские школы слили, и нас, команду девочек, выгнали из родных стен шестьсот тридцать пятой, с зеркального темного паркета, от сияющих окон и привычных училок, от родной директорши Анны Константиновны Щуровской (Щуки), из любимого переулочка, с улицы Москвина — и сослали через забор, на сто метров в глубь двора, ближе к Пушкинской улице, в мерзость мужской сто семидесятой школы, в вечный аромат прокуренного собачьего вивария. Да, там тоже был порядок, но скорей казарменный, а поколения малолетних бандитов Пушкинской и Петровки, Столешникова и Дегтярного постарались, поместили стены своими запахами, как коты.

Когда я прочла списки, кого переводят, то пошла домой шатаясь, вся в слезах. Ужас, ужас!

Между нашими школами, мужской и женской, всегда стоял железный частокол высотой метра в два.

Это был забор как магнит, мы по эту сторону весенними днями прыгали через веревочку, играли в неуклюжий девчачий круговой волейбол и громко смеялись на скамейках (нарочно презирая), а с той стороны доносились пушечные удары ботинком по мячу, приглушенный мат, шарканье и топот по асфальту в пылу драки и звонкие угрозы после нее, когда стороны

расходились, посылая друг другу обидные словосочетания.

Это была Москва 1954 года, только что похоронившая Сталина.

Мы не знали тогда, что нашу (новую) школу окончили поэты Павел Коган и Владимир Соколов, а несколькими годами раньше нас здесь учились такие дети, как (в будущем) режиссер Марк Розовский, драматург Эдик Радзинский, актер и педагог Илья Рутберг, художник Боря Мессерер, писатель и экономист Николай Шмелев. А актер Андрей Миронов (мы с ним будем потом вместе играть в школьных капустниках) был тогда Андрюша Менакер, толстый мальчишка, который отчаянно и безуспешно ходил за главной школьной красавицей... Его дразнили, нехорошо перевирая фамилию, и не раз колотили. Ему хлопали на вечерах. Печаль стояла в его отпетых глазенках, подпертых толстыми детскими щеками. Он любил безответно. Он таскал за девочкой ее портфель и шел в своем тесном школьном мундирчике, склонивши башку и шаркая большими плоскими ступнями, по улице Москвина на Пушкинскую. Девочка строго шла чуть впереди. Он был шут гороховый, любимец школы. Его одноклассник Толя Макаров тоже был гениальный актер, мим не хуже Марселя Марсо, которого мы не знали еще (мы еще ничего не знали, железный занавес вроде нашего забора отделял Россию от мира). Но рядом, через дорогу, стоял филиал МХАТа, сам МХАТ помещался вниз по Пушкинской и направо по бывшему Камергерскому, туда меня водила мама на «Синюю птицу» (а ее водила ее мама, а я впоследствии водила своих детей).

Напротив нашего переуллка с одной стороны был Высокопетровский монастырь, где в полном запустении, среди разгромленных колоколен и храмов, превращенных в склады, возвышалось надгробие матери Петра Первого, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. Как я полюбила эти царские имена — Наталья, Кирилл, Петр! Я решила еще тогда, что назову так детей. (И назвала, Кирюша, Федечка, Наташа. А уже у Кирюши Анна, Мария и Петр, так что все получилось.)

С другой стороны улицы Москвина стоял театр «Ромэн», знаменитое отделение милиции, впоследствии расформированное, кажется, за хорошие делишки, и Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко. Детский театр, в который нас регулярно водили, находился в одной троллейбусной остановке ниже по Пушкинской, напротив Малого и по соседству с Большим опернобалетным. Этот Детский театр был наш театр, мы знали там всех артистов, а когда появился новенький, совсем молодой, румяный и долговязый — он играл Костю в пьесе «Ее друзья», — мы нашли наконец своего

кумира. Звали мы его просто «Костя», а потом уже выучили его имя и фамилию — Олег Ефремов...

Но и мы тоже играли в артистов. Каждый год у нас в школе ставилось два капустника, к Новому году и весной. К нам стекалась вся старшекласная Москва. Андрюша Миронов, храня всегдашнюю печаль, играл роль фокусника: взмахивал платком, засучивал рукава школьной формы, показывал пустые мясистые пятерни залу, пауза... грохот барабана (деревянный стул за кулисами)... музыка (раздолбанный рояль)! И... Андрюша сует руку за пазуху, лицо отсутствующее, как у гения, апоплексический румянец от жары — всё! Долго везет руку из-за пазухи и вытаскивает наружу простой кукиш... Сдержанные аплодисменты.

Но наш класс был другой.

Половина нашего класса гоготала, плевалась длинной слюной, глядела туманно и мерзко, была стрижена под лейтенантский полубокс, грызла ногти и говорила без мата с огромным трудом. Вечерами многие из них ходили драться с солдатами!

Другая половина нашего класса имела белоснежные кружевца у шеи, обязательно заплетала косы, читала Драйзера, Роллана и Бальзака, покушалась носить длинные челки и знала, что нельзя давать поцелуя без любви. Никто и не просил, кстати. В репертуаре этой половины класса были фразы типа «белогвардейцы потерпели фиаско».

Этим вот гражданам Александр Саныч должен был вдолбить отношение к произведению Горького «Мать» (к примеру).

Разумеется, он нас презирал.

Придя к нам, он запретил писать авторучками (у некоторых богатых уже имелись) с огромной ненавистью. Мы должны были быть равны и макать перьевые ручки в чернильницы. Вскоре пострадал Воинов. Саныч, увидевши у него в пальцах солидную авторучку (явно взятую без спросу у папаши-дипломата), приблизился, легким воровским движением взял ее у помертвевшего ученика, поломал напополам, тоже очень легко, и ловко выкинул в открытую фрамугу.

Затем он вернулся к своей тетради.

У него имелась бывалая тетрадь с записями, мельком глядя в которую Саныч размеренно сообщал нам все что надо. Требовалось быстро и как можно более полно записывать за ним. Он не позволял себе никаких блестящих импровизаций. Никаких увлеченных рассказов. Никаких образов, сравнений, шуток. Какие шутки, мать горького.

Другие учителя позволяли себе шутить. Незабвенный Никсем

из шестьсот тридцать пятой (физик Николай Семенович) по прозвищу Рупь-двадцать, что означало ритм его походки (он был хромой), входя в класс, скрипучим голосом провозглашал:

— Повесьте ваши уши на гвоздь, внимание! Дина — это — такая — сила...

Запомнилось, видите, на всю жизнь. Единственное из многолетнего курса физики.

Математик Илья Николаевич любовно произносил «Аш малое и аш громадное».

У каждого был свой метод. Чертежник Проегоркин тонким голосом вопил, стараясь перекрыть общий гул класса. Химик Колба, очень полная женщина, умная и больная, цепляла учеников юмористическими замечаниями, полными тонкого яда, и бесстрашно ставила пары.

Александр Саныч совершенно явно не любил нас (после тех-то предыдущих гениев мужской сто семидесятой!). Вперяя свои очень светлые глаза в наши склоненные над тетрадями головы, он был как пулеметный огонь. Нельзя было отвлечься. Не то чтобы он что-нибудь рывкал, он не повышал своего и так повышенного голоса. С интонацией, которую используют для язвительной полемики, он сообщал нам вполне мирные сведения об авторе, истории создания, о характерных особенностях и т. д.

Видимо, язвительность проистекала из собственного бессилия Саныча перед лицом могучего идиотизма учеников и бабьей глупости новоявленных учениц (банты, челки, фартуки, чулки, улыбочки, тупые от ужаса глазки и — о! — писклявые, трусливые дамские ответы у доски).

Как горько он повторил за нашей рано развившейся Ленкой (грудь четвертого размера, пятна пота под мышками, намек на усики и гвардейские икры ног) с трудом произнесенное ею слово «сентиментализм»!

Он, он, учитель мужской школы! Лицея педагог! До чего доехало! Сентиментализм! Бабы у доски!

Как я потом поняла, эта повышенная, нестандартная интонация, монотонная и недобрая, подстегивала наши и без того напряженные нервы. Это была его сильная педагогическая воля. Это был безупречный монолог типа «Быть или не быть?» или «А судьи кто?». Язвительный скрежет души. Полное отсутствие спадов, нюансировки, игры. Перед кем играть-то?

Так должны были в идеале читать свои роли актеры Анатолия Эфроса. Я бывала на его репетициях. Монотония! Вершина мечтаний умного режиссера.

Когда наступал момент расплаты (ответы у доски), Саныч расправлялся с нами очень споро. Он очищал шесть передних

парт, переселял учеников на задние. Затем их занимали шесть вызванных несчастных с тетрадами и ручками. Каждому он давал вопрос. Ответ должен был быть в письменном виде. Еще двое делили пополам доску и писали ответы на виду у всего класса. Еще один стоял на лобном месте у стола, и при отсутствии знаний его должны были дополнять ученики с мест.

Это была каждый раз как бы групповая сцена стрелецкой казни. В паузах между сбивчивыми ответами раздавался только робкий шорох мела о доску и ручек о бумагу. Отметки сыпались в журнал. За сорок пять минут он опрашивал полкласса (у нас было сорок два человека). Белым взором он обшаривал ряды.

Он был признан лучшим учителем района, он был методистом района, студенты приходили к нам на уроки со своими стульями.

Ничто не шло в сравнение с ужасом наших матерых хулиганов перед уроками литературы. Эти стриженные головы, прокуренные морды, эти лапы в цыпках, привыкшие к кулачным боям, почему-то читали и писали под бешеным руководством Саныча. Учились произносить слова без мата. Излагали его мнение в своих сочинениях. Мало того, записывали за ним своим куриным почерком. Потели отвечали:

— Это когда... Значит... Он родился...

— Родился...

— Ну это! (Взгляд в робкий зрительный зал, призывное задиранье подбородка.) В это, тысяча восемьсот...

— Само собой — не в тысяча семьсот же, ха!

(Класс, дружно: гы!)

— ...шестьдесят восьмом году!

— Ну! Не может быть!? Облегчение. Дата написания романа «Мать»?..

— Ну это... девятьсот...

— Идешь на твердую тройку, думай!

— ...пятом!

— Садись два. Серяков!

— Седьмом!

— Годится. Иди отвечай.

— (Двоечник, скорбно.) Сан Саныч... Я учил...

— Еще поучишь. Будешь, Конева, подсказывать, получишь тоже два.

Это была азартная игра.

Странно, но я попала на крючок довольно быстро. Меня задел его пренебрежительный тон. Я все то, что он нам преподавал, давно прочла. Роман «Мать» мне смутно не нравился, я ненавидела горьковские большие вещи, всех этих Климов

Самгиных, Фому Гордеева, Зыковых, я любила его «Детство», «В людях», даже цыганские сказки, а «Море — смеялось» меня как-то задевало. Мне, с одной стороны, казалось, что так писать нельзя, а с другой — вроде бы открывались какие-то невиданные перспективы. Как бы вообще возможность писать, ни много ни мало. И через тире в том числе!

Я уже упоминала, что была с детства яростной читакой, дома лежала с книгой всегда, заработала близорукость на этом. И тут такое презрение!

Он меня принципиально бойкотировал, я так чувствовала. Как я ни лезла со своими мнениями, он, закаленный педагог мужской школы, легко спрашивал других. Мою поднятую руку он не замечал.

Может быть, он считал меня заядлой отличницей. Очки, косы. Свежий такой голосок. Между прочим, он не знал, что у себя в шестьсот тридцать пятой школе я была двоечница, троечница, постоянный нарушитель дисциплины и жилец первой парты, за которую наши училки сажали самых отпетых, чтобы всегда иметь их в поле зрения. В мужской школе меня не знали, и я поселилась на предпоследней парте, уже взрослая шестнадцатилетняя девушка со своим внутренним миром и обостренным чувством справедливости. Я даже ухитрилась хорошо учиться из гордости. Даже по алгебре, кошмару моей жизни.

И вот мы встретились с Санычем. Гордая девушка (косы, белый воротничок) и белоглазый ефрейтор.

Помню одно из первых классных сочинений, по роману «Мать».

Между прочим, я не успела перечитать этот текст.

Как было выходить из положения? Все мои душевные силы были в отчаянном поиске. Я почти уже не помнила проклятое произведение. Прочла как-то мельком, то ли мама купила книгу. Мама как ошалелая покупала и покупала книги, вся их семейная библиотека пропала во время арестов. Я вечерами всё читала и читала. После школы всю свою жизнь до конца десятого класса я не бежала домой, там меня не ожидало ничего хорошего, а шла как наркоман в детскую библиотеку имени Ломоносова. Как магнитом тянуло. И библиотекари пользовались моей страстью и за одну хорошую книгу требовали прочесть одну по программе. Может быть, факт чтения горьковского романа состоялся именно в принудительном порядке.

И я воспользовалась тем образом, который засел у меня в голове (от каждой книги остается этот образ, каждый ведь режиссер своих фильмов). Темно, и поселок собирается по гудку на фабрику. Открываются двери домов, на жирную грязь дороги

падает свет...

Думаю, что по вынужденной силе негодования в адрес темных сил у меня получилось что-то типа первой страницы позднейшего произведения «Один день Ивана Денисовича». Но какой на жирную грязь мог падать свет? Если подумать, какой свет (свеча?) может быть в избе, а дверь на улицу отворяется из темных обычно у русского дома сеней, — то никакого света и быть не должно. Еще помню такой пассаж: «слепое, глухое, сосущее грудь отчаяние». Так сказать, Ольга Скороходова (известный советский слепоглухонемой пример мужества) во младенчестве.

Писала я специально тесно, в клетчатой тетрадке, на каждой строчке, некрупным почерком. А ну-ка, разбери! Сочинение получилось короткое. Вызов судьбе не бывает многословным.

Он принял мой вызов.

Он мне поставил аккуратную четверку и сделал какое-то мелкое замечание красными чернилами по неполному раскрытию темы, что ли. Но мне показалось на следующем уроке, что он тайно чему-то улыбается. Как-то смущенно доволен.

О, мне не нужно было много. Я тут же понеслась по вольной воде, распустила паруса, я влюбилась в себя. Голова кружится.

Одна его маленькая фраза, я ее повторяю целый день. Толкую так и сяк. Я на взлете. «Оригинально, но спорно».

Он вызывает меня на первую парту, прямо перед собой, я строчу ответ на его вопрос. Как он заметил, кратко. Нестандартно. Он тут же читает. Кто-то рядом отвечает, он тихо спрашивает меня. Я тихо возражаю. У нас сговор. Он удивленно кивнул, улыбнулся.

Голова кружится. Это как первая любовь, любишь того, кто обратил на тебя хоть маленькое внимание.

Начинаешь себя ценить. Улучшаешься. Он ставит опять четверку. Не беда.

Он меня уже зацепил и повел на удочке. Я его лучшая ученица теперь. Позднее я узнаю, что у него в каждом классе есть такой любимый ученик, в девятом некая Сулимова, я ее видела, гордая девочка в красивых желтых туфельках.

Я смотрю на нее с сомнением. Этого не может быть. Нас у него не может быть двое.

(Нас у него оказалось много.)

Весной, на первом экзамене, когда мы заканчивали писать выпускное сочинение, я от волнения задержалась, никак не могла проверить как следует. Саныч сидел за столом и вдруг сказал:

— Не торопитесь, я буду ждать сколько надо.

И мы долго сидели одни в классе, я и моя любовь, он за столом, я за партой. Я уходила, он сказал:

— Ну я еще проверю.

Я получила пятерку. Последнюю пятерку имени Саныча.

(В дальнейшем я всегда писала кратко, в клетчатой тетрадке. Убористым почерком, на каждой строке. Всю жизнь в клетчатых тетрадях, всё — рассказы, пьесы, сказки. Сжато.)

Я еще раз его увидела. Через год был вечер встречи учеников. Шумели, гуляли счастливые бывшие школьники, союз разума, студенческой воли, февраль 1957 года. Неожиданно оказалось, что очень много хороших умных лиц у мальчиков старших выпусков.

В одном месте вестибюля водоворот, красные от восторженного смеха лица ребят, в эпицентре седая голова, тоже красное лицо, нежно-голубые, очень светлые глаза Саныча. Он смущенно смеется. Слышны крики: «Саныч, с нами! Саныч!» Нежно, но не запанибрата. Как к слегка прирученному волку. Явно выпили с ним.

Вдруг выяснилось, кто у нас самый любимый в школе. Его не отпускали, за ним шли толпой.

Потом я узнала, что глаза такого цвета бывают у больных, у сердечников. Светлые глаза, даже чуть бирюзовые.

Много лет спустя в немецком посольстве на каком-то приеме (по случаю присуждения Пушкинской премии) мы стояли кружком — писатель Толя Макаров, художник Боря Мессерер, экономист и прозаик Николай Шмелев. Толковали о том о сем. Вдруг выяснилось, что мы кончали одну и ту же сто семидесятую школу. И все мы — ученики Сан Саныча Пластинина.

Толя Макаров, летописец по натуре, сказал:

— Еще у него учились Марк Розовский, Илья Рутберг, Алик Аксельрод — они потом основали театр «Наш дом» в МГУ, а Алик был первым ведущим КВН на телевидении и, кроме того, зав. отделением кардиологии в Боткинской больнице... И Андрей Миронов актер. Дмитрий Урнов критик. Андрей Вейцлер драматург.

— Сан Саныч рано умер, — сказала я. — Сорока восьми лет вроде бы. Есть легенда, что у него было восемь детей. А он женился на своей ученице. Она окончила нашу школу, осталась

работать там лаборанткой вроде бы, она в него влюблена была с детства. Без памяти любила его. Двоюродная сестра моей одноклассницы Милы. И родила ему еще детей. Жил бедно. Вот и вся легенда.

Мужчины уважительно помолчали. А потом вдруг заговорили, какую роль сыграл в их судьбе Сан Саныч.

Мы решили основать общество учеников Пластинина. Поговорили и разошлись.

Саныч давно в могиле.

«Открывается дверь, и на жирную грязь дороги падает свет...»

Как цветок на заре

Прошлая любовь привязывает к месту больше, чем к человеку. Давно забыт человек, первая любовь, где-то живет (действительно живет где-то, а нам все равно, появишься он, будет неловко, особенно ежели с признанием в любви — любил тебя одну — и, по телефону, с явным перегаром как всегда). Долой первую любовь, но место: блаженные темнеющие улочки вдоль моря, сосны, тротуары из каменных плит, виллы, сумерки, фонари сквозь ветки, соленый йодистый воздух, песок в босоножках, идут вдвоем, он и она, зрелые люди, ему двадцать один, ей восемнадцать, он местный, она по путевке в доме отдыха. Она студентка, он просто так, охотник за скальпами, курортный молодой человек с большой практикой. Не работает. Слушайте, кому это интересно? Он учился в консерватории по классу валторны, на военном факультете, вот что важно. С детства музыкальная школа, мама оперная певица, солистка хора. Валторну ненавидит, но когда встал вопрос — армия или консерватория — мама все-таки посоветовала пойти на этот военный факультет.

Все это студентка (первый курс, не умеет краситься, носит мамин сарафан, постоянные ангины, отсюда путевка к морю в августе) — эта студентка слушает затаив дыхание. Она тоже по музыкальной части, по классу вокала, такое совпадение, но в училище. У нее меццо-сопрано с перспективой (А. Е. говорил) на драматическое сопрано, к тридцати пяти годам такие голоса только набирают силу для Вагнера! Вагнера поют к сорока годам. Пока что нам восемнадцать. Сегодня утром мы распевались после завтрака, соседка тетка отчалила на море, а мы (при раскрытых окнах, в окна хвоя, морской ветерок, не очень тепло) — мы распеваемся: «Милая мама, милая ма-ма». И затем ария Далилы, никого нет, голос несется в окна, к морю.

Вдруг внизу человеческая речь:

— Эт-то кто там поет, а? Кто так у нас поет тут?

Мужской ласковый баритон.

— Да, кто поет-то?

Второй голос, повыше (драматический тенор) в шутку подыгрывает.

— Кто это поет?

Она, прячась за тюлевой занавеской, смотрит вниз. Два молодых человека. Сердце бьется. Она молчит, замолчала. Внизу опять беседа:

— Да, ничего.

— Годится.

Молчание сверху встречается с молчанием снизу, сталкивается, сплетается в воздухе, густеет, разрастается. Затыкает горло. Минуту, две. Мысли: спуститься? Или не надо. Спуститься — это значит изменить судьбу. Изменится судьба. Не спускаться — судьба останется такой как была: мама, училище, хор, ми бемоль ваша нота, ангины. А. Е. говорил: надо беречь горло, а то что же за певцы с хроническим тонзиллитом. Ария Далилы: «Открылася душа — как цветок на заре-е... для лобзаний Авроры». Только что пела: «Далиле повтори, что ты мой навсегда! Что все — забыты муки...»

Муки одиночества (молчание длится), восемнадцать лет, и, как мама говорит по телефону подруге, да, она торчит дома. Никого. Имеется в виду дочь. Дочь сидит дома. Да, да (они по телефону перебивают косточки своим детям, любимое занятие у мамы и ее подруги Марьи Филипповны, страхового агента). На день рождения девушки пришла в качестве гостьи именно Марья Филипповна выпить чаю с тортом и винца, но торопилась как обычно, ушла. Восемнадцать лет — и день рождения с мамой и ее подругой, затем М. Ф. убралась, всё. Восемнадцать лет! Убрали со стола.

Что все забыты муки!

Повтори — те слова!

Что любила так я... а... а...

Пела в полный голос первый раз после тяжелейшей ангины. Ангина была как смерть.

Ты бледна как смерть (мамины слова).

Дальше пела (согласные неважны):

А... хнее... тси... л-сне — стии-ира-злу...

кууууужгу — чи-ихла... скласктво... и-хожи-да-ю.

Пела в полный голос при открытых окнах, но в безопасности, на втором этаже, за занавесками. Как бы из тени, из тайника звала кого-то в виде Далилы. Так и надо петь (А. Е. говорил), вживаясь в образ, но успокойся, это следующий этап, пока еще надо учиться певческому призыву, когда пиано сквозь все тутти. Летит звук, а пламя свечи не колышется (!), а не драматизму. Драматизм у всех есть в природе (А. Е.), что ни поете, все у вас драма, а вот дыхание не оперто. Как дерево на корнях. Дохни всем животом! Где язык? Где твое зеркальце? У того же Шляпина

было все свободно в гортани, язык вот так (показывает ладонь плоско). Рот как грот (!), ничего не загромождено. Освобождай простор! Смотри на язык!

Прижала язык, зеркала нет. Призвук появился (?).

Призывала кого-то, как Далила. Вот на зов и шли мимо двое, остановились под окном. Только на сей раз серенаду поет девушка наверху (бледная как смерть), отчаянно поет, прижав язык, звук льется свободно, дыхание опять не оперто. Ладонью отгороди ухо (А. Е. говорил), слушай сама себя, слышишь?

От счастья зам-мираю!

Отща-стьязам-ми-раю...

А-А... ааа-аа (и т. д. пела).

Спуститься значит изменить судьбу. Спускались ли испанки к тем, кто пел серенады?

На экзамене была серенада: «Гаснут дальной Альпухарры! золотистые края (Зоя Джафаровна проигрыш, и): напризывныйзво-онгитары! (Зоя Джафаровна барабанит) выйди милая моя!!» (А. Е., комментарий: вообще четыре с минусом! но четыре тебе поставили, я был против).

Спускались ли испанки?

Она все еще стоит не шелохнувшись, боится за занавеской изменения своей судьбы. Внизу тихо, уже никого нет. Судьба удалилась. Ни с кем так и не познакомилась. Ходила туда, где площадка за решеткой, танцы и музыка, там качались пары. Но тихо удалилась, бледная как смерть. Все входили, а она не вошла, удалилась. Далиле повтори, что ты мой навсегда.

Как испугнутый заяц, на неслышных лапках спустилась во двор, обогнула корпус, вышла на плиточный тротуар. Стоп! Они стоят, охотники, замерли. Она стоит смотрит, говорит:

— Вот и я.

Смелое высказывание, изменяющее судьбу, вот и я. Сказала и перевернула свою жизнь и жизнь вон того, умного, в очках, стройного, прекрасного, лысоватого. Опрокинула все.

— Вот и я.

Пауза, они как-то изменили позу. Стояли так, а встрепнулись. Как будто услышали сигнал:

— Вот и я.

Дальше:

— Это вы пели? (Говорит второй, лицо круглое, сам высокий, загорелый.)

— Я.

— Видите ли, — говорит опять второй, а первый, главный, в

очках, он расслабляется, закуривает, ибо смуглый второй явно играет всегда у них первую скрипку. — Видите ли, мы собираем концерт силами отдыхающих. Не согласились ли бы вы...

Дальше они уже идут втроем по плитам переулка (куда-то), в босоножки набрался опять песок, но времени у второго, смуглого, мало. Он явно спешит и вскоре оставляет Далилу и Самсона одних. Самсон учился в консерватории, Далила учится в училище. Самсон со смехом рассказывает, как в музыкалке они пели «Я помню чудное мгновенье» в виде джаза, под umpa-umpa-умпа, барабана на стульях, и когда одна дева на экзамене забыла романс Глинки, он (Самсон) тихо показал ей, как бы барабана, «умпа-умпа», и она вспомнила! Хохохочут.

Затем они гуляют весь вечер вдвоем, заходят к Алику (тот смуглый) в его комнату при клубе, он массовик-затейник в доме отдыха, а Самсон его друг, приехал на взморье в гости, уезжает сегодня. Далила с ужасом думает: сегодня.

В комнате Алика плакаты, мячи и сетки, шахматы, спортивный инвентарь, одна боксерская перчатка, старые кресла, два дивана, кое-какой быт, чайник, стаканы, тумбочка, стол со стульями. Никаких денег ни у кого (быстрый безадресный вопрос Алика «у кого есть деньги» пал в тишину). Но сидит, надувши губы, девушка, это девушка Алика явно. У нее такая надутая мордочка всегда. Постоянное свойство: чрезмерно пухлый рот, как бы слегка недовольный вид. Кто-то заглядывает с улицы, Алик убегает, забегает опять, хватается за ключи, наконец Самсон выводит Далилу на волю, у Далилы в семь ужин.

Идут рядом, Самсон рассказывает, что Пухлая Мордочка — это, оказывается, дочь какого-то большого начальника, она здесь отдыхает с родителями, ей семнадцать, они с Аликом уже решили пожениться, но родители еще не знают, а узнают — увезут Мордочку в столицу. Как раз у Аллочки этой кончается срок в санатории, она уговаривает родителей продлить путевку и оставить ее здесь одну лечиться, раз им надо на работу, а Аллочке в школу только в конце августа, две недели свободны. Школьница замуж?

Так Самсон с Далилой беседуют и расстаются у столовой, и тут самое главное — это как ДОГОВОРИТЬСЯ. Далила молчит, ей мучительно страшно, тоска ее душит. Только обрела — и тут же потерять. Они стоят у подножия лестницы, наверху уже почти все отужинали, сытые выходят, выносят кошкам и собакам котлеты. Далила ждет, как собака или кошка, молчит, не мяукает. Вечереет, прохладно, Далила не может удержаться, дрожит. Самсон, усмехнувшись, снимает с себя пиджак и надевает на

плечи Далилы.

Далиле повтори, что ты мой навсегда, что все забыты муки...

Далила трясется и под теплым, нагретым пиджаком. Стоит молчит, ждет. Самсон закуривает и наконец говорит, почему-то усмехаясь:

— Ты завтра будь у себя наверху, я приеду перед обедом, утром у меня дела.

— Второй корпус, — откликается Далила немедленно, у нее этот адрес так и вертелся в мозгу. — Второй корпус, второй этаж, седьмая комната. Дом отдыха «Волна».

А то он может уйти и по дороге забыть, и всё. Это ведь километрами тянутся дома отдыха вдоль моря.

— Ну? — вопрошает она. — Пока?

Она снимает с себя пиджак и одновременно как-то неловко протягивает ему свою длинную белую руку для прощания (не загорела еще).

Он берет ее ладонь, держит в своей теплой и сухой руке. Пожатие как землетрясение.

— «Волна», два-семь, — она так беззаботно говорит и идет вверх по ступеням, стесняясь своего сарафана, босоножек, белых ног и рук. Как это выглядит со спины? Не оглядывайся. Оглянулась уже в дверях. С невыразимо нежной, ободряющей улыбкой он смотрит снизу.

На рассвете Далила проснулась от счастья. Все уже состоялось в жизни, все что нужно. Пустая грудь заполнилась изнутри, так что стало тесно (как говорится, сердцу тесно в груди, вон оно что). Все мигом заполнилось, получился смысл жизни. На вопрос «в чем смысл жизни» Далила сейчас, на рассвете, могла бы дать ответ: «В Самсоне».

Она лежала наполненная смыслом, с громадным спокойствием. Птички начали щебетать, временами орали вороны. Все было уже устроено в ее жизни, все цвело, был порядок, образовалось главное: всегда вместе с Самсоном.

Через много часов он приехал под окно и просвистал «Ах, нет сил снести разлуку», умница. Она тут же высунулась и замахала ему своей длинной белой рукой. Они пошли по делу, к Алику в клуб, там просидели до обеда, Алик был один, у него имелись сложности, родители не выпускают Аллочку из рук, водят с собой, что-то почувствовали. Алик двигался как во сне, тоже полный до краев, уже взрослый мужчина двадцати трех лет, массовик-организатор на курорте, нежелательная перспектива для таких родителей, ясно. Наконец пришла та, кого ждали, Аллочка, вырвалась на пять минут, сбежала с процедуры из

поликлиники, и тут же с порога предложила уехать к Алику в Донецк к маме. Он поцеловал Аллочку (при Самсоне и Далиле), прижал к себе, к своему телу, крошечное тело Аллочки к своему огромному и взрослому, спрятал ее надутую мордочку и мокрые черные глаза на уровне желудка, только видна была грива ее черных волос, все скрылось под руками Алика, скорбными руками ненужного человека.

— Надо подумать, — сказал он в результате медленно.

Она тоже медленно, как в воде, вышла из его рук и пошла, мелькнула потом в окошке, маленькая, пряменькая, на каблуках, копна черных волос, и всё.

Утешали Алика, пили у него чай с единственным что было, с сушками. Потом Алика вызвали к директору. Самсон и Далила, как бы сделав все что нужно, встали и пошли. Отправились к морю, куда же еще.

Сели в песок, Самсон привычно разделся до плавок, а Далила смертельно испугалась, что сейчас увидит его тело. Увидела с отвращением. Волосы на ногах, ноги жилистые, немолодые (21 год), до плавок она почти не поднялась взглядом, там была куча всего. Далила не разделась, сидела скрестив руки (хрон. тонзиллит). Он пошел в море, уходил, двигал ягодичами, совершенно чужими, у него были икры, широкая спина с волосами. Потом вышел из моря, пошел лицом вперед, была очень хорошо видна волосатая грудь и мохнатый живот, туго набитые плавки. К этому надо привыкать, решила она, панически пялясь в сторону. Когда он сел рядом, у него оказалось такое выражение лица, как будто ему было смешно. Как будто он наблюдал за любопытным случаем.

Вздохнув, она вдруг сказала:

— Я больше ни с кем не буду знакомиться.

И он опустил голову.

О пении больше не было и речи. О том, чтобы распеваться в спальном корпусе, тоже. Времени не хватало. День за днем они проводили вместе, переживая за Алика и Аллочку, Аллочка уже без пяти минут уехала, доживала, видимо, последние моменты, и один раз Самсон с Далилой пришли к Алику, а его комната, всегда открытая, оказалась запертой наглухо. Постучали, подергали. Ни шороха. Самсон посмотрел в замочную скважину и вдруг дал сигнал смываться, дернул Далилу за руку и потащил вон. Быстро ушли.

— Что ты?

— Они прощаются, ключ в замке.

— Как прощаются?

— Прощаются, — повторил он.

Затем Далила узнала всю историю его долгой жизни, что Самсон не мог вынести учебы на военном факультете с перспективой потом играть всю жизнь в духовом оркестре и наконец стать его дирижером. Тогда Самсона в казарме научил опытный старшекурсник, ты лежи под лестницей, а я тебя как бы найду, что ты упал и потерял сознание. Потом вообще не ешь, а если будешь есть, то сунь два пальца в рот и все дела, сблудишь. Недельку так пролежишь в санчасти, и тебя комиссуют. Неделю: Самсон пролежал три месяца в госпитале, в отделении нейрохирургии, и уже действительно не мог есть, даже пить, его рвало сразу же после приема пищи, а армия все не хотела с ним расставаться, ставила капельницы, настойчиво лечила, назначала все более тонкие обследования, пункции из позвоночника и страшное поддувание (какое-то), чего боялись все симулянты и от чего человека корежило как от смертной казни. Затем его отпустили. Он потерял половину веса, шесть зубов и почти все волосы на голове, однако выжил, вышел на волю и стал страшно пить. Не мог ни работать, ничего. И мама.

— И мама, представляешь, ни слова. Каждое утро на репетицию, и каждое утро оставляет мне деньги под блюдечком. Зарплата при этом маленькая. И я все понимал, но ежедневно с ранья бежал, покупал бутылку.

— Да?!

(Далиле повтори, что ты мой навсегда, что все забыты муки.)

— И я, понимаешь, в один прекрасный день сказал себе: всё. Хватит. И всё!

— Да?!

— И не пью больше. Ну как все, рюмочку-другую. И всё.

(Открылася душа,
Как цветок на заре,
Для лобзаний Авроры...
Так трепещет грудь моя!)

И вот однажды вечером он ее поцеловал. Грубо вечером на берегу, в дюнах. Смял ей весь рот, Далила стала задыхаться, она же не умела дышать в таких условиях, когда рот заткнут! Губы мгновенно распухли, и Далила ясно, тут же (как осветили), увидела надутый рот Аллочки, уже увезенной насильно в такси, и в панике все поняла (они прощались! «Прощались!»). И стала вырываться, забилась, чтобы освободиться и вздохнуть, но этого мало, Самсон вообще надвинулся, навис, заслонил собою все и

стал терзать бедную грудь Далилы. Какое-то животное навалилось, хлопотало, умело расстегивало, мяло, не отрывалось ото рта, фу! Далила сильно оттолкнула это животное и вскочила на ноги. Отвернулась и долго застегивала под плащом, кофточкой и сарафаном лифчик. Оглянулась. Самсон сидел курил, сам тоже растерзанный. Постепенно разговорились. Почему-то она чувствовала себя виноватой. Погладила его по рукаву пиджака. Выяснилось (не сразу), что в такие моменты у мужчин сильная боль. Они собой не владеют. Неутолимая боль.

— Да?!

Была уже темная ночь, Самсон опоздал на электричку и собирался теперь идти будить Алика, ночевать у него на диване. Самсон проводил Далилу в корпус, мягко и нежно поцеловал ее и долго потом стоял под окном, насвистывая «Ах, нет сил снести разлуку». Зачем-то стоял, хотя договорились на завтрашнее утро. И — новости — утром выяснилось, что белый плащ на спине у Далилы испачкан!

Она уже оделась выходить, а соседка ее остановила:

— Ты обзеленилась, — деловито сказала соседка. — Где-то обзеленилась, лежала.

Белый плащ на спине был в зеленых полосах и пятнах.

— Это от травы, на траве лежала. Надо горячей водой с солью.

В глазах соседки тетки ясно читался весь произнесенный текст и собственный печальный опыт. Эх, ох, обзеленилась, как тысячи других безымянных.

Перестала носить плащ. Спрятала в чемодан.

Днем Самсон у Далилы в груди, распирает грудную клетку, все наполнено, битком набито им. Он же идет рядом, держа ее за руку, и он же сидит внутри, потеснив дыхание. Рука в руке, через его ладонь проходит в Далилу как бы ток, щекочет в ребрах, уходит в пятки, если встретишься с ним взглядом. Как хорошо! Голова кружится, а разговор течет спокойный. Они просто так болтают. Алик ошалел как олень в лесу и бежит на переговорный пункт к телефону. Его вызывает Москва. Аллочка ему звонит ежедневно и плачет в трубку, стонет, не может вынести разлуку.

Ах, нет сил снести разлуку!

Жгучих ласк, ласк твоих ожидаю,

От страсти зам-мираю!

Аллочка плачет, а мы вместе.

Через неделю Далила ему позволила ЭТО, то есть целоваться

(раз у него боли, он явно стискивал зубы, сидя рядом). Научилась дышать носом, если целуют. Терпела. Рот наутро распух.

А Аллочка сообщила по телефону Алику, что у нее задержка (что это такое, думает Далила, то есть она не будет больше звонить?!).

— Какая-то задержка со звонками, — вслух заключает Далила.

Безудержно, но негромко смеясь, Самсон продолжает, что Алик сходит с ума.

— Уехать ему нельзя, денег нет, — хохочет Самсон как идиот.

— Ты чего, — спрашивает Далила. Она подозревает, что смеются над ней. Каждый так будет думать, если смеются непонятно над чем.

Самсон постепенно успокаивается и объясняет, что у Алика нет денег съездить в Москву, на выходной бы было можно (ночь в поезде туда и ночь обратно), но не на что, поскольку Алик посылает деньги матери в Донецк, там младший брат учится. Алик сходит с ума. Аллочка собирается приехать к Алику сама, честно оставить записку родителям. Жить в его комнате. Питаться с ним в рабочей столовой. Алик ее отговаривает, тогда его вообще посадят за соращение малолетней.

Всю милицию на ноги поставят. Они всё могут. А он ничего. И нет денег.

И у Далилы и Самсона нет ничего. Они печально танцуют бесплатно на Аликовых вечерах, уже идет осень, пахнет желтыми листьями, бессмертная луна сияет с темных холодноватых небес, песок в дюнах ледяной. У Самсона мать на гастролях, он исхудал, Далила кормит его своими котлетами с хлебом, как люди кормят кошек и собак. Жадно смотрит, как он ест: деликатно и как бы нехотя. У него металлическая коронка в глубине рта, след страшных месяцев в госпитале.

Однако у Самсона все впереди, громадные планы, он поступает (не сейчас, а на будущий год) в консерваторию на два факультета, дирижерско-хоровой и на композицию, будет готовиться. Надо работать и учиться.

Они сидят в дюнах на Аликовом одеяле, под луной, целуются до потери сознания, но печаль уже поселилась в сердце Далилы, она часто плачет (как Аллочка).

Глупая Далила с остервенением целуется, научилась, Самсон скрежещет зубами от своих болей.

И как-то вечером она уезжает домой, в Москву, Самсон везет ее на электричке в город, они стоят обнявшись в тамбуре последнего вагона и смотрят в заднее окно, как убегающие рельсы сплетаются и расплетаются огненными змеями на черной

земле, уходя в печальный желтый закат, и как горят тоской зеленые и красные огни светофоров, можно-нельзя, можно-нельзя.

И на перроне городского вокзала Самсон на прощание снимает с себя свой единственный красный свитер и отдает его Далиле, потому что она мерзнет без плаща, который засунут в мусорную урну дома отдыха. И всю ночь Далила плачет, укрывшись свитером, слышит запах Самсона, табак, его кожа, одеколон, плачет и будет плакать еще полгода, будет писать письма каждый день, потом через день, потом реже. К весне этот поток иссякнет, и обратный поток, от Самсона, закончится двумя письмами без ответа, и в одном из них далекая новость, что Алик женился, они с Аллой ждут ребенка, и Алик поступает на заочный в театральное училище на режиссуру и уже нашел работу худрука в доме культуры завода. Алик — кто это?

Открылася душа, как цветок на заре.

Много лет спустя Самсон позвонит и мягким, нетрезвым голосом скажет — а, да что там, одну тебя и любил всю жизнь. И положит трубку.

Еще в университете меня занесло в «Крокодил». Начитавшись польских юмористов, я вдруг решила ходить на семинар юмора и сатиры, а им руководил Мануил Семенов, тогдашний главный редактор этого кошмарного заведения, и наши занятия протекали в его кабинете.

Мануил Григорьевич, безобидный старичок лет сорока с чем-то, лицом был похож на японского колхозника, если бы таковые у нас имелись, и всегда улыбался, но писал на удивление плохо, а ведь уже вся страна говорила цитатами из Ильфа и Петрова. Деревня это была, деревня.

Мануил нас даже пригласил на «темник», заседание, посвященное выбору тем для карикатур. Маститые сидели вокруг огромного стола и буквально выжимали из себя нечто по капле (на память тут же явилась известная цитата), вообще несли какую-то ахинею, даже слушать было совестно. Виктор Ардов, плотный горчичного цвета дядька с седой шевелюрой и козлиной бородкой, вел себя очень живо, буквально как дитя, вертелся, оглядывался, нервно смеялся и наконец родил: «Баптисты. Баптисты. Баб тискать». Все охотно заржали, но затем быстро осеклись — какая еще карикатура может быть при советской власти с такой подписью?

Вообще «Крокодил» конца пятидесятых представлял собой прокуренную контору, где сидели серьезные пожилые мужички и занимались карательной юмористикой.

В самом лучшем положении находились мастера, которым поручали писать на международные темы и об идеологических отщепенцах типа стилияг и Пастернака.

В остальном же это были трудяги, со скрежетом сочиняющие шутки, прибаутки и фельетоны, которые, будучи опубликованы, плавно переходили в оргвыводы (начальственные разносы) с последующим приговором. Такая прокуратура с присвистом и вприсядку. Население жаловалось в журнал как бы изнутри картины Брюллова «Последний день Помпеи». Юмористы мчались в командировки. По фельетонам назначались цековские проверки, героев журнала сажали, выгоняли из партии. Они (в основном мелкие начальники) не сдавались, жаловались. Всем вилы в бок! Какой может быть смех в таких жутких обстоятельствах. Крик и вой в лучшем случае. Утро стрелецкой казни. Фельетонисты ходили по краю. Победившим, думаю, тоже приходилось несладко (увидим впоследствии).

Улыбаясь, Мануил Григорьевич посоветовал нам, студентам,

начать свою юмористическую деятельность с работы по письмам трудящихся. Мне он дал, подумавши, жалобу Анны Владимировны Дуровой, художественного руководителя знаменитого звериного Уголка имени Дурова. Анна Владимировна школьным почерком писала о том, что новый директор театра зверей Блехман не знает специфики дрессировки, так как перед тем заведовал кинопередвижками Московской области.

Если бы я была тертый калач, я могла бы засмеяться нехорошим крокодильским смехом в ответ на такие аргументы. Я затем поработала на практике в газете «Горьковская правда» и начала понимать, что любой сознательный член партии может руководить всем, как театром, так и кино, потом цирком, банями, телефонными узлами, асфальтобитумными заводами, далее кладбищами, опереттами, колхозами, катками и местами заключения. Журналом и газетой. Самых бедолаг посылали «на культуру». Провалил план, проворовался — будешь куковать директором клуба или комбината изобразительного искусства. Будешь раздавать художникам план их работ, типа «Калинин и Ахунбабаев на Красной площади» (реальное название).

Тема мне не показалась интересной.

Когда я наконец пришла к Анне Владимировне в Уголок имени Дурова, она мне сказала, что Блехман уже развернулся (видимо, я долго собиралась). Он, как крепкий хозяйственник, решил отремонтировать Уголок, покрасил его масляной краской и заказал огромное художественное полотно в центральное фойе, «Могила Дурова на Новодевичьем кладбище». Произведение уже было нарисовано (пока я раскачивалась, ленивая студентка).

Меня отвели к этой картине. Она выглядела как декорация к фильму о привидениях. Надгробье, другие надгробья вдали. Мутные какие-то небеса надо всем этим делом. И это в театре зверей! Дети придут! Ни фига себе!

Кроме картины и покраски стен, директор еще многое успел сделать.

Анна Владимировна, деликатная немолодая дама с камеей на блузке, передала мне свой разговор с Блехманом. Он велел выкинуть из музея Уголка все чучела дуровских артистов на балкон с формулировкой «старье тут будем еще разводить». А. В., видимо, поплелась к нему и стала протестовать:

— Это же реликвии, это знаменитая Запятайка! Гусь! Описано Чеховым!

— Да вы не волнуйтесь, мы новые чучела сделаем, — видимо, заявил Блехман. — На что нам эта моль!

— Это же были чучела артистов! Гусь знаете что умел?

— Ну и мы сделаем из артистов!

— Да что вы!

— Забьем и сделаем, вы успокойтесь, — утешил Блехман Анну Владимировну. — А не то что.

Так приблизительно я представила себе их яркий разговор.

Во всяком случае, Блехман абсолютно точно посулил Дуровой набить новые чучела именно из ее воспитанников.

Анна Владимировна подвела меня к балкону, где были свалены эти шерстяные чучелки, жалкие остатки музея. Они все уже были одинакового пыльного цвета. Медведь торчал лапой. Груда убитых.

— Под дождем уже сколько находятся, — сказала Анна Владимировна.

Это был упрек мне, нерадивой. Слишком долго шла.

Надо собраться. Мы отомстим. Вилы в бок!

Помучившись, я написала совершенно не смешной текст под названием «Директор ломает дрова» и тут же уехала из Москвы на практику. Было лето. С чувством восторга два месяца спустя я держала в руках свеженький номер «Крокодила» со своим фельетоном. Правда, там был какой-то новый абзац, не мною написанный, с неведомыми фактами и именами (какой-то дополнительный медведь), ну и ладно. Может, это так полагается в «Крокодиле».

Приехав, я пришла в родной журнал. Я представляла себе, что дяденьки меня ласково встретят, я воображала себя такой новой Варварой Карбовской. Дадут еще письмо!

Сотрудник журнала В. хмуро посмотрел на меня и сказал, что директора сняли, но он обжаловал решение, и что в моем фельетоне факты не подтвердились и по этому поводу даже было заседание комиссии ЦК. И мне здесь делать больше нечего.

— Какие факты, не может быть, — залепетала я. — Медведь?

В. нашел журнал и ткнул пальцем в абзац — именно в тот абзац, который я не писала.

— Это кто-то мне добавил, это не мое, — бормотала я деревянным ртом.

В. зорко посмотрел на меня, буквально как орел на мышь, хотя я стояла, а орел сидел.

— Так, — сказал он, точно гвоздь забил. — А это?

Он достал из ящика стола верстку, куда чернилами была внесена правка. Видимо, все материалы на меня уже собрали.

— Это не мой почерк! — обрадовалась я. — Видите? Я же уезжала на практику!

— Короче, — через паузу и как бы не слыша меня,

резюмировал В., - советую вам не появляться здесь ближайшие пятнадцать лет. А лучше никогда.

Я ушла, стучаясь о стены коридора.

(Представляю, что в эту паузу у литсотрудника В. вместились многое — например, графологическая экспертиза, новая комиссия ЦК, вообще свистопляска, собственное увольнение и т. д.)

Через небольшое время Анна Владимировна позвонила мне и попросила написать еще один фельетон. Я ответила, что не смогу. Тогда Анна Владимировна, помолчав, сказала, что вместо Блехмана им в Уголок Дурова прислали директором майора Орлова, который до того руководил местами заключения где-то в районах массового лесоповала (звание и фамилия, кстати, вымышленные).

Этот директор уже в реальности ломал дрова. У судьбы тоже бывает свой нечеловеческий юмор.

Я думаю, что после того и начались все последующие несчастья театра зверей — увольнения дрессировщиков, забастовки, голодовки, суды и т. д.

О «Крокодил», о вилы в бок.

Кстати, это был государственный метод — когда из школы моего сына убрали интеллигентную директрису, на детей наслали директором военрука в усах. Дети немедленно окрестили его «Таракан» и стали массово покидать свою милую, либеральную школу. А когда из «Нового мира» уволили главного редактора Твардовского, то на руководство посадили крепкого хозяйственника с телевидения, который на прежнем месте работы вроде бы присвоил (как приглушенно говорили) казенные кресла. Уволок на дачу.

А что касается юмора, то спустя много лет я встретила эту фразу — «Баптисты, баб тискать» — у кого-то из сатириков начала века. Ардов, видимо, был ходячей картотекой старых реприз, хотя сам писал не всегда смешно. Но, судя по воспоминаниям его детей, в быту он считался человеком остроумным и даже отвечал Ахматовой, которая прошла не слабую школу стиля в Ташкенте под руководством своей подружки актрисы Фаины Раневской. Вот это был «темник», я представляю, когда такие девушки собирались! Великие умницы, мастерицы, королевы жанра. Обе вошли в историю юмора своими шуточками, хотя Ахматова, разумеется, была второй.

Диплом я писала под руководством вечно занятого Мануила, о природе юмора. Он прочел, искренне удивился и с долей уважения спросил: «Это вы откуда взяли?»

Хороший был у меня руководитель, Мануил Григорьевич

Семенов. Ни слова не поправил. Не до того ему было в журнале «Крокодил».

Меня нашли осенью 1961 года на просторах казахской целины Юрий Константинович Арди и Вася Ананченко, корреспонденты «Последних известий» Всесоюзного радио.

И они так меня потом иногда и называли, «находка».

Точнее говоря, вся эта история произошла в студии Петропавловского радио в Северном Казахстане.

Они были там, в Петропавловске, в командировке, а я приехала туда на одни сутки из глухого райцентра Булаево, взять клише в областной типографии (из цинковых так называемых клише делались фотоснимки для органов печати, старинная технология). В Булаеве я выпускала «районку» — номер газеты, посвященный работе строительного отряда МГУ на целине, в данном районе Североказахстанской области.

Был сентябрь. Все студенты отряда уже уехали в Москву с песнями, деньгами и сухим пайком, исхудавшие, черные, жилистые, все повально в тельняшках и парусиновых штанах (флот по-шефски выделил обмундирование б/у). В Булаевском районе остались возведенные белыми студенческими ручками многотонные стены зернохранилищ (из природных каменных глыб), саманные домики, кошары, — их потом приехали достраивать «под крышу» армяне-шабашники. (Не знаю, доделалось ли это или все ушло под глубокие снега, когда кампания по приобщению студентов к простой жизни ээков была завершена.)

И еще на целине осталась я — печатать газету об университетском стройотряде, которую всю сама написала под разными фамилиями.

И вдруг далекому корреспонденту Казахстанского радио занудилось, опоздавши, сделать вдогонку какой-то материал о нашем строительном отряде. Он позвонил в Булаевский райком, где я в унынии сидела одна со своей гитарой.

О, ночи в казахстанской провинции! Пустой кабинет с койкой, телефон в коридоре, повсеместный лай собак, тьма египетская, ветер гремит по крышам, всё.

Звонок! Кто это в такую поздноту?

— Але, девушка! Мне бы кого-нибудь из студенческого отряда!

— Все уехали уже.

— А вы? Вы кто?

— А я делаю здесь газету об отряде, заканчиваю...

— О! Вы-то мне и нужны! Вы можете приехать ко мне в

Петропавловск на радио выступить? Как жалко, упустил, я был в командировке, так хотелось их записать, так сказать, под песни у костра.

— А я завтра еду как раз к вам в Петропавловск в типографию за клише. И у меня как раз гитара.

Он помолчал — как видно, оторопел от такого совпадения:

— Ну вот! Да вы что! А переночуете у нас, жена вас накормит.

Назавтра областная типография должна была выдать мне последние клише фотографий, а затем предстояло напечатать весь тираж и сопровождать его в Москву.

Белые мухи носились над одноэтажным городишком Булаево, длинные и глубокие лужи рябило, как в шторм... Дул сильный, леденящий, настоящий предзимний степной ветер. Я пробиралась на вокзал с гитарой. Из верхней одежды у меня был бордовый прорезиненный плащ китайского производства и большой головной платок, похожий на оранжевое вафельное полотенце. Под ним матросская тельняшка. Внизу — парусиновые матросские клеши и зеленые ботинки. Что-то немыслимое. Всё, кроме военно-морского обмундирования, покупала в разное время мама. Доставала. Я плакала над этими обновлениями, но делать было нечего. Носила. И в таком виде поехала в столицу Северного Казахстана, навстречу своей судьбе.

* * *

А вот как я там оказалась, на целине.

Весной, когда уже пора было оканчивать университет, я пыталась устроиться на работу. Но меня не взяли ни в газету «Неделя» (где уже принятый на работу мой однокурсник в ответ на все вопросы о штатном местечке запел и выдвинул ящик стола, в котором загремела, перекатываясь, пустая коньячная бутылка. А я намека не постигла и ушла после слов «ты в уме ли, старуха, какое там, сам еле-еле...»), ни в «Крокодил» (туда, в отдел писем, уже зачислили мальчика с нашего курса, Колю Монахова, который потом прославился, публикуя фразы из народных писем под рубрикой «Нарочно не придумаешь»). В отдел сатиры и юмора радио меня тоже не взяли — работники даже скромно посмеялись, переглянувшись между собой, едва я ввалилась и на вопрос ответила, что хотела бы у них работать, еще бы они не засмеялись! Там в то время вкалывали Владимир Войнович и Марик Розовский!

Почему я пыталась устроиться в такие странные места — потому что я только что защитила творческий диплом по сатире и

юмору, там были фельетоны и рассказы (и на защите этого диплома схватились два преподавателя — председатель комиссии говорил, что не смешно, а оппонентка закричала, что смешно, вы че! Сцепились они по поводу моего комментария к письму, пришедшему в журнал «Крокодил». Человек прислал мед. справку, выданную гражданину Н., что такой-то Н. пришел в амбулаторию «на своих ногах». Я отвечала на письмо в таком духе, что хорошо, что Н. пришел не на своих рухах. И вот начался этот длительный спор: смешно или нет. В результате стороны помирились, мне поставили четверку, и я, довольная, отчалила).

А на работу я так и не устроилась.

И в этот тяжелый жизненный момент я услышала, что от университета едет на целину стройотряд, куда-то в степи Казахстана. И у меня возник хитроумный план: поехать с ними туда, это вообще бесплатная дорога на край света, когда еще представится такая возможность туда добраться!

Данная идея с отъездом казалась мне решением всех моих вопросов.

Тогда были такие времена. Трудно — езжай за туманом и за запахом тайги, на ту сторону Урала, по маршруту, кстати, воров и убийц, которые как раз тоже в свои времена отправлялись тем же путем по Владимирскому тракту (нынешнее шоссе Энтузиастов, московское начальство знало, как назвать братьев по духу) и дальше к Тихому океану, три года шли пешком (как описывал Чехов в своем отчете о командировке под названием «Остров Сахалин»), чтобы ступить на грузовой пароход во Владивостоке и затем переправиться на каторгу, на тот остров, в тогдашний ГУЛАГ... (Книга Чехова, его научный отчет о поездке через всю Сибирь на Сахалин, написана была безо всякой страсти и обличения, скучно, тяготно, однако это и был настоящий первый «Архипелаг», и именно там и был показан подлинный социализм без собственности, не хуже платоновского «Котлована»: каторжане получали дом и землю, но поскольку это было не «ихово», государственное, то они тут же пропивали всё, в том числе и арестантские халаты, и брели за пайкой хлеба и приварком что ни день, иногда по четыре часа в одну сторону, без дороги, сквозь сахалинскую тайгу, на кухню. Они никогда ничего не сеяли, вообще ничего не делали. Спали на голом полу. Единственная шутка у Чехова на всю книгу — что аборигены-рыбаки носят арестантские халаты каторжан «из щегольства».)

Не вдохновило автора это путешествие по России...

Тоска, видимо, его брала или предчувствия донимали.

Великим русским писателям даром эти поездки не проходят — Радищева вообще посадили за очернительство после одного

путешествия из Питера в Москву.

Чехов никакого пафоса и обличения не допустил, и правильно сделал.

И его «Сахалин» поэтому мало кто прочел.

* * *

Надо сказать, что к решающему моменту, к окончанию моего университетского обучения, к последнему госэкзамену, я подошла совершенно распутившись. Это бывает со студентами. Я перестала учиться. Диплом на тему «О природе юмора», опомнившись, наваляла за одну ночь накануне последнего срока сдачи, в нем было двенадцать страниц теории и полтора десятка моих заметок из «Крокодила». Вообще за пять лет учебы я не только ничего нового не узнала, но и подзабыла все то, что прочла к окончанию школы. Нас на факультете все время натаскивали как будущих идеологов, подвергали чтению бесконечных ленинских трудов о партийной печати (люди как «винтики общепролетарского дела») и его же, Вовиных, книг насчет какого-то эмпириокритицизма, затем шел диамат, истмат, диабаз и гранит марксистской философии, зачем-то теория коммунистической печати (что сие означало?), плюс какие-то попытки научить грамотно писать, практикумы по правке текста, то есть вставить вместо трех точек нужный падеж или предлог... При том что у нас на курсе прочно сидели асы с национальных окраин, которые в диктантах на одну страницу делали по 38 ошибок (личный рекорд студента из Баку). Они-то потом и становились главными редакторами местных газет. В том числе у нас имелись и два неторопливых монгола, которые так и не успели за пять лет записать ни одной лекции...

А ведь научить человека выражаться грамотно почти невозможно. Еще иностранца насобачить полбеда, он зубрежкой возьмет. И спроса с него не будет. Но исконно русского человека «с Калининграда» и «с Тирасполя», с исковерканным от рождения люмпенским окраинным языком, именно что ни к селу ни к городу (как в пословице «пошел по язык да свой потерял») — научить правильно писать в университете на нашем факультете не могли по определению! Несмотря на блестящих преподавателей стилистики. Потому что главным делом была преданность идеям партии.

Так что из нас готовили непрофессионалов, идеологически выдержанных профанов...

И все это происходило при наличии великой литературы,

отметим. Одновременно!

Каково было идеалистам, воспитанным на высоких образцах, влезать в кусачие робы пролетариев умственного труда, лжецов на зарплате!

(Как-то, много позже, профессор Асмус уважительно спросил А. А. Морозова, переводчика «Симплициссимуса», в Доме творчества в Переделкине (когда я перед тем на скамейке в парке изложила им очередную главу польской книги о барокко и сарматах, меня попросили вкратце перевести): «А что она оканчивала?» — «Журналистику». — «Бедная...»)

И вот последний госэкзамен, «гос», я как раз и оканчиваю университет. Теория и практика советской партийной печати плюс зарубежная коммунистическая печать. «Партсовпечка» по-нашему.

Господи! Я не могла себя заставить готовиться к этому экзамену. Вечером накануне я, однако, пошла, спотыкаясь, в Ленинскую библиотеку хоть что-то подчитать. Хоть в энциклопедиях. Не знала же ничего!

Надо было судьбе послать поперек моей дороги хорошего дружка Юрку. Он шел со своей мамашей именно по этому же переулку, но в противоположном направлении. То есть навстречу мне, которая брела, полная сомнений, к неведомому источнику знаний относительно коммунистической печати (дяденьки педагоги так и не соорудили никакого учебника по данному вопросу).

— У меня сегодня день рождения, привет! — заорал Юрка, а его маленькая мамаша-рентгенолог просияла и кивнула. — Пойдем к нам?

— Правда! — закивала его мама. — Пойдемте, Люсенька!

— А пойдемте, — сказала я.

И вернулась домой с последним метро, вот как.

Затем утром я явилась на госэкзамен с понятным опозданием. У двери толпились однокурсники, впившись утомленными глазами в тетрадки. Поздно было даже просить что-то почитать. Они сами явно выклянчили драгоценные конспекты у отличниц. Отличницы давно сидели в аудитории.

Я заглянула туда. Ого! Комиссия будь здоров, во главе с нашим одноруким деканом. И молодой Засурский, основатель кафедры зарубежной коммунистической печати. И какие-то тетки-дядьки. Человек семь.

Я тут же зашла. Мне было терять совершенно нечего. Как во сне, в полном бетонном спокойствии взяла билет. Села.

Поглядела. Нет! Ничего я не знаю о коммунистической печати Японии! И возникновение и зарождение партийной печати Сибири в эпоху революции тоже не вызывает во мне никаких чувств. Колчак? Врангель? Какое отношение они имели к партийной печати? А только эти имена, да еще и фамилии казненных в топке паровоза героев (то ли Лазо? то ли, наоборот, Щорс?) приходили в мою бедную головенку. Но партийная печать? Как они там могли все эти кошмарные вещи освещать?

Я встала и вышла на лобное место перед комиссией. Она была еще довольно свежая, неустоленная. Сидел лысый, с искусственной рукой, с какими-то тоже не совсем одинаковыми глазами, оба были подозрительно ненастоящие, наш декан. Он был суров, как герой фильма ужасов. На факультете («на факе» по-местному, народ говорил «пошли на фак») вообще ряд педагогов резко отличался от остального народа фантастической внешностью. Один преподаватель диамата, стоя в полный рост, доставал бровями как раз до края стола и иногда так и смотрел, невидимый, оттуда. Мы с подружкой Веркой как-то залетели в пустую аудиторию, Верка, приподняв юбочку, стала поправлять чулок — и о ужас! Прямо на столе вдруг загорелись укоризненным огнем два глаза в увеличивающих очках! Преподаватель задрал голову!

Мы с ней обе имели незаслуженную тройку по этому предмету...

Ладно. Я стояла в вольной позе перед государственной комиссией. Потом промолвила нехорошим тоном (не без развязности):

— А я не знаю билета.

Они оживились, зашевелились. Такое приключение! Вежливо предложили взять еще.

— И этого билета не знаю. Вообще ничего не знаю.

— Ну хорошо, — встревоженно сказал дяденька справа. — А вот как Хрущев назвал журналистов? Вот как?

Тетя в центре вдруг откинулась и, незаметно для комиссии, стала мне подсказывать, шевеля губами. Где там! Мне было уже не до мелочей.

— А не знаю я, — оголтело произнес мой рот.

Они смутились. Я, как закоренелый преступник, уже закусила удила. Вообще дело начало смахивать на судебное.

— Подручные партии! — с горьким укором ответил за меня дядя.

— А, — как бы вспомнила я. Разумеется, мне была знакома эта формулировка. Вообще-то подручными в дни моего детства обычно называли в журнале «Крокодил» помощников палачей.

Ренегат палач Тито и его подручные.

— Ну вот, — покачал головой дяденька. Мол, что же ты так-то.

Помолчали. Никто не знал, как и когда меня гнать в шею. Ужас витал над аудиторией. Сзади меня напряглись лучшие силы курса, первые ряды отличников.

Тут я неожиданно для себя сказала очевидную пакость:

— А мне это не пригодится.

Пауза. Они не верили своим ушам. Выпускница говорит, что ей не пригодятся знания, приобретенные тут! В стенах университета!

— Что вам не пригодится? — задал наводящий вопрос дяденька справа.

— Ничего! Зарубежная печать!

Засурский выпрямился:

— Как это?

Дело его молодой жизни! Изобретение пылкого полиглота!

— Да я еду через три дня на целину, — заявила я со всей силой здорового рабочего класса, — на стройку работать! Надо изучать жизнь! Прежде чем писать!

Часть комиссии нехорошо задумалась. Теперь как это так — вдруг взять и вклеить двойку будущему рабочему стройки! Идеологически-то она верно схватывает! Да и Засурский тоже хорош! Зачем дуракам-студентам его зарубежная печать? Кто это читать-то будет? Пусть она коммунистическая, но ведь это же на других языках! Их же никто не знает! Закорючки какие-то японские, индийские! Что в них понятного-то? Филькина грамота это все! Коммунистическая-то да, но ведь хрен знает что они там пишут! И проверить некому!

И потом (явно размышляли они) — можно наказать нерадивого студента, исключив его из университета и сослав на годок проветрить мозги в какую-нибудь многотиражку на стройку — но эта-то сама туда, и горделиво причем, лезет! И учит нас!

Тогда я этого не понимала совершенно, но демагогические приемы, видимо, были усвоены мною за пять лет учебы четко. Вот у меня коммунистические принципы! На целину, на стройку! В гущу! А не у вас тут в Москве!

Старым духом повеяло, чистками, рабочими ассоциациями пролетарского чего-то (рапповщиной). Превосходством рабочего класса над гнилой интеллигенцией. Письмами в ЦК, мало ли. Они все друг на друга строчили.

С такими людьми, наверно, только так и можно было разговаривать.

И я тут же весьма пышно удалилась вон из аудитории. Сердце мое трусливо билось.

Народ, подслушивавший за дверной щелью, расступился в ужасе, как перед еретичкой. Я прошла в пустом пространстве, как-то преступно улыбаясь, проследовала через весь коридор и затаилась где-то в закутке.

Всё, мне конец.

Что меня ожидало? Диплома не дадут, на работу без него никуда не возьмут, ни в какую районную даже газету, жить нам будет не на что, а через год все равно придется сдавать опять тот же самый «гос»... Будь ты неладна, коммунистическая печать Японии.

Спустя время в коридоре забегали, созывая всех на объявление оценок.

Прошла опять в пустоте, села в аудитории отдельно.

Мне объявили тройку!

Я захохотала от неожиданности. Этот смех странно и кощунственно звучал в серьезный, даже торжественный момент окончания университета.

Комиссия попрятала глазки и горько смотрела врозь, мимо меня, как многоглавый Змей Горыныч, упустивший зайца на ту сторону реки. Ясно было видно, что они с огромным удовольствием вlepили бы мне именно сейчас заслуженную двойку. Но что делать, пролитое не соберешь!

* * *

После окончания университета у меня имелось пять рублей, и я их, прийдя через три дня в назначенное утро к университету на Ленинские Горы, сдала командиру первого попавшегося автобуса на питание, доехала с ребятами до товарной станции, залезла в телячий вагон на нары и начала приводить в действие план дальнейшей жизни. Я собиралась поработать на стройке в Северном Казахстане со студентами, а дальше, когда они уедут, остаться в степях и тихо переезжать из города в город, писать для местных газет, продвигаясь к Тихому океану, по маршруту Чехова. Жить же на гонорары. Изучать настоящих простых людей! Почему-то мне именно это казалось самым важным.

Так что я действительно уехала, как грозились. И действительно вкалывала на стройке разнорабочей, грузчицей. Таскала камни, как на каторге, под палящим солнцем, полные носилки, ноша на двоих при пятидесяти градусах жары, без бани (два раза за два месяца), с солоноватой водой из бочки, без почты

и с коричневыми макаронами на завтрак, обед и ужин — как в какой-нибудь Италии, с той только разницей, что в Италии эту слипшуюся массу не сдабривали бы кусками вареного бараньего сала. Макаронникам такая кухня и не снилась!

Через месяц мы закорявели, заплошали, пошли какими-то нарывами, даже устроили забастовку, то есть кисло сидели у своего недостроенного амбара, похожего на вконец разрушенный римский Колизей, и не работали. Можно было это квалифицировать как преступление, и всех, весь курс, показательно выгнать из МГУ и из комсомола — но нашему командиру, аспиранту-математику Беленькому, это и в голову не пришло. Он был чужд идеологии. Он был просто хороший человек. И вместо того он нас отвез на грузовике в совхозную баню, дал денег купить пряников и карамели (думаю, что это были собственные средства аспиранта Беленького), а также мы смогли приобрести тетрадки и конверты, зайдя в канцтовары, как в рай. Сразу после бани и канцтоваров, как только мы были готовы ехать обратно, на нас налетел ливень, степь прямо на глазах зазеленела, а дорога немедленно обратилась в глубокое болото, и мы ехали промокшие, заляпанные по брови после баньки, стоя в кузове, веселые, и пели песни.

Еще через неделю такой жизни меня белым днем обнаружили (лежащей на полу за печкой в вагончике по причине болезни) командиры сводного отряда, приехавшие на машине из районного центра (я была единственный журналист с дипломом МГУ на территории, как тогда шутили, равной трем Франциям). Они вежливо смотрели на пол, где я в духоте валялась с высокой температурой, и предлагали сменить участь: уехать в Булаево и начать делать газету о стройотряде университета. Я сначала сочла это предательством, а потом, через два дня, когда они опять приехали, согласилась (все равно все скоро закончится) и стала спешно выздоравливать.

Это была чудная жизнь! Свобода! Просторы! Я начала ездить из отряда в отряд, брала интервью, собирала песни, смешные случаи, байки. Единственное, что я не посетила ни разу, — это стан факультета журналистики. Почему-то будущие коллеги были мне поперек горла.

Я добиралась на редких попутках, иногда лежала в высокой траве посреди степи в ожидании грузовика, под выгоревшим синим небом, в звенящем просторе. Ничего нет прекрасней степи. Ничего. Даже море короче, быстрее обрывается. Я запомнила на всю жизнь восход солнца над черным паром — лиловая, густо-фиолетовая вспаханная сырая земля и оранжевое большое солнце, которое выпрастывалось, жидко дрожа как желток, выскакивало,

еще ничего не освещая, а именно «озаряя» — а на дороге стоял грузовик, с него прыгали наземь доярки в красных от рассвета белых халатах, и накатывало стадо, посреди которого ехали на лошадях пастухи и орали что-то шутливое по-немецки, как орут мужики встречным бабам, из чего я понимала только лихое «Доннер веттер!». А доярки, идеально чистенькие, даже накрахмаленные, румяные и здоровые, со смехом восклицали: «Гутен морген», — это были ссыльные, сосланные в степи немцы Поволжья...

Но потом, когда стройотряд уже уехал в Москву и я готова была двигаться по стране дальше, к Тихому океану, сведущие люди в районной газете сказали мне, что гонораров районки не платят, а штаты везде заполнены членами партии, даже снять койку будет не на что — да и печатать мои статьи вряд ли кто захочет. Так они мне говорили. Действительно, газетенки не интересовались творчеством. Я почитала тутошнюю подшивку. Это был тоскливый ужас. Местные редакторы публиковали бодрые вести с полей, интервью с председателями совхозов и всякую идеологически выдержанную хрень из «тассовок», материалов агентства ТАСС, притом, как я теперь понимаю, находясь под сильным прессингом обкома и райкома, на самом дне партийного океана. Такие рыбки без боков, сплюсненные, сильно пьющие. Ибо чем дальше от центра, чем больше вокруг пустого пространства, тем теснее живет человек. Он на виду. Ему меньше простора. Больше давят сверху. Мне было там не выжить.

У меня той весной, перед окончанием университета, была еще одна надежда найти работу — мой незнакомый отец. Он был профессором философии (марксистско-ленинская этика, атеизм) и членом редколлегии журнала «Наука и религия». Мог бы помочь. После долгих поисков я нашла моего папу ровно в том же дворе, в котором проучилась пять лет, — его кафедра повышения квалификации преподавателей общественных наук находилась прямо напротив двери моего факультета журналистики. Он знал многое обо мне. До него явно доходили слухи о моем идеологически невыдержанном поведении.

Он испугался и даже привстал, когда я вошла к нему в кабинет. Я видела его перед тем всего один раз в жизни, десять лет назад. Тем не менее мы друг друга сразу узнали: голос крови, видимо. Придя в себя, он повел меня в ресторан-поплавок и накормил. Он спросил в заключение, очень осторожно:

— Чем собираешься заниматься?

— Да вот, — ответила я. — Поеду работать на целину, на стройку разнорабочей.

— Правильно! — облегченно воскликнул он. — Так начинаются все карьеры!

Эти мои планы вызвали в нем большое воодушевление. Он дал мне десять рублей.

Я пришла к нему еще один раз, просто так. Соскучилась, может быть. Он заметил:

— Моя жена против того, чтобы мы с тобой встречались. Но я ей сказал: «Ты не знаешь, может быть, она нам пригодится».

И он повел меня в университетскую столовую.

Больше я его не видела, моего удивительно мудрого отца.

Но все получилось именно так, как он сказал.

Такова предыстория моего появления в городе Петропавловске.

* * *

На следующий день я, сойдя с местного поезда, управляемого паровозом, уже сидела на петропавловском радио в студии у микрофона, в теплом и светлом месте, и пересказывала содержание написанной мною газеты (каждая статья шла как «новелла»), а также пела под свою гитару песни стройотряда. Пела, я думаю, не меньше часа, в том числе блатной репертуар типа «Вхожу это я в пивную», любимые песни раздольных казахских степей. Для советского радио это была, как я понимаю, безумная новинка!

Когда я вышла из студии, будучи в тельняшке и белых матросских клешах, а также в зеленых ботинках, вид, возможно, невероятный для радио, даже экзотический, при этом загар как у мулатки и совершенно выгоревшие, цвета соломы, волосы, да еще и в руке гитара, — ко мне обратился оживленный, интеллигентного вида, даже какой-то французистый старичок, лет за сорок, и сказал ласково:

— Откуда вы явились такая?

— Из Булаево.

— ?

— Это шестьдесят километров отсюда.

— Надо же, — сказал интеллигентный старичок. — Как интересно. Мы вас слушали. Я комментатор «Последних известий» Константин Арди.

Из угла кивнул дядя тоже не первой молодости, хорошо за

тридцать пять. Он казался утомленным, заработавшимся. Так обычно выглядят после вчерашнего. Я до того посидела на практике в городе Горьком, в сильно пьющем коллективе местной газетки «Горьковская правда», которую они же сами справедливо обзывали «Горькая правда», и мне уже были визуально знакомы разные состояния человека.

— А это Вася Ананченко, корреспондент, мы вместе приехали. Вы нам понравились.

Пожилой Вася попробовал улыбнуться. Глаза у него были синие, и такого же примерно цвета подглазья. Он сидел нога на ногу, понурившись.

Девушки всегда очень подозрительно относятся к комплиментам. Знаем мы вас, старые дядьки! Я насторожилась.

Старец продолжал хвастливо:

— Эх, вот если бы вы были москвичкой, я бы вас взял на работу на радио!

Я тут же сурово возразила:

— А я москвичка.

— Ну хорошо, — растерялся старичок, — будете в Москве, заходите.

Как бы его не поймали на неосторожном обещании.

Возникла тяжелая пауза. Вася смотрел в пол, покачивая головой и ботинком.

Но Юрий Константинович Арди был, вообще говоря, удивительно легким и добрым человеком. И он вышел из положения доблестно:

— Вот вам телефон (он засуетился, ища ручку), моя жена, Александра Владимировна Ильина, заведует отделом культуры в «Последних известиях».

То есть никаких таких двусмысленностей, жена!

Вася Ананченко зыркнул из своего угла как бы неожиданно трезво.

Посмотрим, говорил он всем своим видом.

Может быть, эта история и должна была иметь продолжение в каком-нибудь местном кабаке, но корреспондент радио тут же увел меня к себе домой, где его жена наготовила пельменей, весь вечер мне со смехом жаловались на тутошнюю жизнь, город, оказывается, все местные называют Петродыровск!

Дети радостно бесились вокруг, а потом мне предоставили комнатку с кроватью, на которой было две перины! Я погрузилась в эту роскошь, но поспать мне не удалось: пришли старожилы-клопы, видимо, попить свежей кровушки. Бедные люди, как мы все тогда жили!

Я выпустила булаевскую университетскую газету, вернулась с тиражом в Москву, а идти на радио все не решалась, месяц просидела дома, сопровождаемая стонами мамы, что нам не прожить на одну ее зарплату, это было чистой правдой, мамы всегда провозглашают горькие истины и этим раздражают своих детей, которые не желают подчиняться обстоятельствам; а затем я набралась духу и позвонила по чудом сохранившейся бумажке Арди.

— Ну где же вы, — сказал женский прокуренный бас (это оказалась сама Ильина). — А мы вас ждем-ждем... Приезжайте немедленно. Арди мне про вас рассказал.

Я, оцепеневшая, приехала, мне велели написать текст о возвращении студенческого отряда (якобы это произошло сегодня, а не два месяца назад), Ильина прочла, кивнула, меня тут же запустили в студию, и вечером, сидя у приемника «Рекорд-59», мы с мамой слушали меня голова к голове, и я не поняла из своего репортажа ни слова... Какой у меня был писклявый голос! При этом каша во рту, такое я вынесла впечатление от собственного выступления по радио.

Тем не менее, я начала там работать внештатно.

Через два месяца Ильина меня взяла корреспондентом.

Насчет карьеры мой мудрый папа оказался прав.

Моя первая начальница, заведующая культурой, прекрасная Александра Владимировна Ильина, имела суровую внешность Жана Габена, курила «Беломор», басом заступалась за меня перед начальством и на летучках, а в личных беседах строгала как карандаш. У нее первого мужа расстреляли в 37-м году, сын погиб на фронте. Дети ее были мы все.

Еще я очень уважала и боялась Павла Осиповича, Пашу Майзлину. Он был заведующим промышленности, при том что еврей и не член партии, дело вообще-то на радио немыслимое, тем более что на фронте, выходя из окружения со своей ротой, он закопал все документы, в том числе и партбилет, а также ордена — и выбрался, но известно, что тогда «наши» делали с такими. Он прошел все круги ада и упорно не желал еще раз вступать в партию, сколько ему ни предлагали, суля даже повышение по службе. Тем не менее его держали на высокой должности: в работе ему не было равных.

Это у нас был цех, заводской цех, поток новостей, без высоких слов, самое непатетическое из всех средств массовой информации. Хотя и тут беспардонно ввали: например, сев всегда

начинался у нас «на три дня раньше прошлогодного», а одну и ту же домну провинциальные корреспонденты, за неимением информации, задували по нескольку раз (а нашего постоянного выражения «пущена третья очередь» вообще никто в стране понять не мог).

Бывало, Майзлин, лысый человек, сидящий за абсолютно пустым, чистым и блестящим, как его голова, столом (и это при огромнейшем объеме информации, которая шла через данный приемный пункт), будучи главным по дню, вгрызался в мою информашку, черкал, ноя себе под нос какую-то криво-косую песню, и со вздохом говорил:

— Самое дело, вот дали бы мне тебя месяца на четыре, я бы тебя научил, самое дело, как надо писать.

(Я с воем в душе шла к своей Ильиной предупредить, что меня хотят забрать, она слегка улыбалась прокуренной улыбкой Жана Габена, затягивалась папиросой и хрипло говорила: «И правильно».)

Это всё были мои учителя, люди старинной закалки и стальной выдержки. Я состояла при них как подмастерье (не оставляя, однако, усилий по подрыву принятых там норм языка). Вообще, я не встречала больше такого дружного, хорошо сколоченного и солидарного коллектива. Выгораживали друг друга, про сбежавшего сообщали: «Портфель его здесь, вышел, наверное», часто сидели вечерами, слушая байки. Особенно любим был Вадим Синявский, спортивный комментатор. Мне запомнился его рассказ об Олимпиаде в Австралии, когда наш журналист проиграл в карты сумму, равную суточным всей советской делегации! Тогда Синявский пошел парламентаром, взяв с собой международных как переводчиков, и миру был явлен вызов на дуэль: кто кого перепьет. Сборная России против сборной мира. Алкогольная олимпиада. На кону был проигрыш нашего газетчика. Спиртное тоже за счет проигравшей стороны. Синявский в этом месте делал паузу:

— Я шел первым номером.

Слушатели восторженно кивали. Еще бы!

— Я обошел их уже на пиве — велел подогреть и перелить в кружку. Он-то пил из такой жестянки ихней!

Раздавался сдержанный смех.

— На водке их первый номер упал сразу под стол.

Аудитория делала вид, что изумлена. Потом следовал понимающий хохот. Все знали эту байку.

Далее шло перечисление напитков. Это была поэма! Пиво, бургундское, шампанское «Вейв Клико»... Ну, виски «Уайт хоре»... Водку наши сами выставили. Советский вклад, «Столичная». Ну и

сами понимаете...

— А то!..

Это все была рабочая кость информации, мои старшие.

Но и руководитель у нас был непростой. Наш главный, Владимир Трегубов, красавец, много раз женатый, совершенно седой, лохматый, вечно загорелый, просвистывающий по коридорам как торпеда, Вэ Дэ, как мы его звали, — он говорил отрывисто, всегда смотрел поверх головы собеседника, вечно спешил, не вникал в мелочи, не въедался под шкуру, как многие мои позднейшие начальнички; но в один главный момент своей жизни Трегубов основательно поставил точку, совершил политическое самоубийство, не желая лгать: на партсобрании, посвященном вводу войск в Чехословакию, он отказался голосовать «за», поднял руку «против». Он был единственным таким самосожженцем. Затем его постепенно выжили. Высокий, красивый, умный, интеллигентный, с вечно болтающимися шнурками, он блуждал по вокзалам, приглашал девушек на самопальные экскурсии, водил их по Москве. Один раз (ходили слухи) он даже пообещал кому-то достать ковер... Девушка пожаловалась по месту работы. В дальнейшем он почти нищенствовал и сошел, говорят, с ума...

Крепкие мужики, руководящие гении, могут вынести многое — в том числе тюрьму и лагерь; но не безработицу...

Весь радиокомитет, все эти отряды профессиональных лугунов, все бурлило в те дни чешских событий 1968 года. Я уже работала в радиожурнале. Перед собранием начальство велело запереть дверь. Выступали по собственному порыву. Один наш молодой коммунист пылко сказал, что сам бы всех там пострелял. Мы протянули вверх ручонки, одобряя ввод армии. Я не могла себе позволить такой роскоши, как Трегубов, в семье было двое инвалидов, а также ребенок и я, единственный кормилец.

В тяжелые времена таких собраний, когда надо было поднимать руку, голосовать, я говорила себе: мы разведчики во вражеском стане. Самое смешное, что тогда полно было таких разведчиков, чуть ли не вся страна. Все хором врали и прятали свои чувства.

Когда я сказала Твардовскому, главному редактору журнала «Новый мир», о том, как голосовала, он мне ответил в том духе, что «знали бы вы, в какие моменты я поднимал руку...». Это было спустя пять месяцев после чешских событий, в январе 1969 года. Твардовский меня вызвал, чтобы сообщить, что не может

опубликовать мои рассказы. Ему, по его словам, нечем было бы меня защищать. Вскоре и он был снят с поста и практически погиб.

У жизни не бывает хеппи-энда.

Юрий Константинович Арди перед смертью ослеп. Моя крестная Александра Владимировна Ильина погибла типичной смертью курильщицы — сгорела в постели, в больнице. Она уже не могла ходить (облитерирующий эндартериит) и уснула с папиросой во рту... Они с Юрой умерли с разницей в день — он за сутки до нее, один в пустой квартире.

Вадим Синявский умер от застарелого туберкулеза. Мы ездили его навещать в Сокольники, тоже в больницу. Ровный, спокойный, угасающий человек... Ни для кого не было секретом, что его стремится погубить новый главный редактор, не пускает в эфир.

У меня была профессиональная беда — я говорила в микрофон при всех обстоятельствах одинаково пискляво. Некоторые мои знакомые, слышавшие меня по радио, даже считали, что я работаю в «Пионерской зорьке»!

Мой крестный, Вася Ананченко, стал мне внушать разные полезные вещи, в том числе Вася сказал, что по радио надо говорить медленно.

— Ты не трещи, находка, — успокаивал он меня.

(Однажды я приволокла запись с литературного вечера в библиотеке — какая-то девушка пела еще более писклявым голоском свои песенки. В процессе записи что-то случилось с моей «крупорушкой» — так мы называли портативный магнитофон. Он весил 8 кг. Я починила механизм с помощью карандаша кое-как и попросила начать все сначала. Девушка дисциплинированно стала повторять. Я была в восторге от ее песен. До сих пор знаю их наизусть.

Александра Владимировна Ильина взяла у меня эту пленку, положила в стол, закрыла ящик и сказала: «Иди пока работай».

Это была бы первая запись на радио Новеллы Матвеевой... Но время еще не пришло.

Правда, ее слава началась очень скоро и останется на века.)

Так вот, один раз Вася решил меня наставить на путь истинный и преподать урок настоящей работы, когда он, крикнув, услышал, что нас с ним посылают освещать какую-то производственную выставку в Манеже.

Я, правда, поначалу оторвалась от своего руководителя, взяла на плечо «крупорушку» и, перекосившись от тяжести, пошла сама искать себе выступанца. Нашла! Навстречу мне шел какой-то

нарядный старик солидной внешности.

Встав у него поперек дороги, я нацелила микрофон ему под нос и звонко произнесла:

— Будьте добры, несколько слов о ваших впечатлениях!

И тут же почувствовала, что меня уносит с его пути, какие-то люди буквально взяли меня под мышки и оттащили в сторону.

Это был сам академик Миллионщиков (до сих пор не знаю, кто такой).

Вася меня больше не отпускал. Он велел мне стать у стены и тут же привел выступающую тетю.

Я опять-таки сунула ей в лицо микрофон, как дуло автомата.

В ответ на мой простой вопрос: «Как вам понравилась выставка?» — она мудро помотала головой и отстранила опасную штуку от своего лица. Вася стоял рядом и тоже качал головой. Потом он сказал:

— Смотри как надо!

Он, правой рукой держа микрофон, левой начал оглаживать тетеньку со стороны спины, при этом ласково диктуя, что надо сказать.

Тетенька оживилась, но сразу произнести фразу не смогла.

(Ходила же по рукам пленка с записью, где корреспондент берет интервью у бригадира, тот читает написанный текст о кормах для кроликов и произносит, что они должны быть «легко усвояемыые». Его просят прочесть еще раз. Получается «легко усвояевыемые». Затем еще один вариант, «легко усвоявыемые».)

Наша бедняга отвечала на вопрос только «ну».

Вася начинал беседу:

— Вам понравилась выставка? Да не «ну дак»! А просто: «Мне понравилась эта выставка».

— Ну.

— Вам понравилась?.. Фу ты господи! Не «ну», Раечка! (Сеанс поглаживания.) Скажи только: «Мне понравилась выставка». Да?

— Дак ну же.

Вполне справедливый ответ: сказано ведь было, чего еще-то повторять.

— Ах ты боже ты мой... Минуту. Так. (Солидно.) Вам понравилась эта выставка? А? (...) Ну что ты все ну! Что это ну!

Потом он ей написал на бумажке крупными буквами слово «Да»...

Когда он ее отпустил, то сказал мне:

— Вот ты видишь... как приходится работать, в каких условиях... И вот как надо!

Следует сказать, что даже сам Леонид Ильич Брежнев (генсек ЦК КПСС, если кто помнит, что это такое было) впоследствии вы-ха-ва-ри-вал настолько заковыристые звуко сочетания, произнося свои странные речи на съездах партии, что фирма «Мелодия», которая обязана была выпускать пластинки с его речами, панически искала подходящих пародистов, чтобы перепроизнести, к примеру, слово «находящихся». Сам Леня Ильич произнес его как «находявщихся». Среди прочих вызвали на студию и режиссера мультфильмов Эдика Назарова (любимые народом фильмы «Как муравьишка домой спешил», «Жил-был пес» и т. д.).

Эдик мастерски передавал интонации Лени.

Но слово спасти не удалось — оно было произнесено при полном зале собравшихся, при определенных акустических условиях. Не собирать же съезд заново! Не выпускать же на трибуну Эдика! Чтобы он сумел, напрягшись, рыча, вывернувши рот наизнанку, еле ворочая языком, теряя челюсть и как бы стараясь, чтобы не стошнило, вы-ха-ва-рить слово «находящихся».

Однако самое сильное впечатление осталось у меня от одной благотворительной акции «Последних известий». Это был пик моей карьеры на радио.

В тот раз в космос полетела первая женщина, Валя Терешкова, бывшая ткачиха с образованием типа техникум. Ну и нам, девочкам «Последних известий», доверили вести прямой репортаж с трассы. Решили как бы подбодрить женское племя журналистов. Восстановить пошатнувшееся равновесие между полами, раз девушку пульнули в космос.

Народ согнали встречать своих героев.

Меня поставили на балконе Дома обуви на Ленинском проспекте.

Толпы внизу и до горизонта тихо шумели, шевелились, трясли флажками.

Это было торжество равноправия, видимо. Как говаривал великий остряк Зиновий Паперный на языке полухинди, «женщина и мужчина бхай-бхай!» (по аналогии с лозунгом «хинди-руси бхай-бхай!»).

У меня перед глазами плясал мой текст, я его написала заранее, Ильина одобрила («Вот вдали показался кортеж... Это открытые машины... Раздается громкое „ура“! Люди машут флажками!»).

Другой рукой я крепко зажала микрофон.

В напарники мне выделили Петровича, сурового, пьющего человека из отдела спорта. Мы с ним должны были быть, наверно, как равноправная радиостатуя «Рабочий и колхозница», но мы

стояли порознь и рук вверх не тянули, с какой бы стати? Однако наша парочка все-таки представляла собой символ тесного единения спортивной редакции и отдела культуры, т. е. самое дикое сочетание, да еще и высунутое на высоте шестого этажа на балкон. Я от волнения ничего не могла рассмотреть на проспекте, как ни щурилась. Петрович, закаленный на футбольных репортажах, зорко глядел вдаль.

В руке его тоже трепыхался текст, но по другой причине (Петрович, видимо, с утра побоялся «поправиться»).

Вдруг по проспекту покатился нестройный отдаленный шум. Послышалось как бы «ура», как перед атакой. Точками на пустом проспекте показались машины. Петрович меня неожиданно сильно толкнул локтем.

Я начала совершенно не по тексту:

— Смотрите! Едут наши дорогие!!! Терешкова!!!

И тут же подавилась от умиления и заплакала.

Петрович заткнул мне рот свободной от микрофона ладонью.

Как он справился и каким образом читал текст (утвержденный руководством), который у него был в руке, которой он мне затыкал рот?..

Я потом долгое время с ним первая здоровалась в коридоре. Столько пережито было вместе там, на балконе! Как он мне находчиво рот-то запечатал! Но, по-моему, суровый Петрович меня решил не узнавать.

Если бы кто изваял нашу статую в тот момент, то она свободно могла бы называться «Рабочий затыкает рот колхознице, или Цензура в действии».

* * *

Вообще-то в «Последние известия» было не устроиться. Мне по крайней мере.

Там работали солидные, известные люди, ветераны, чьи голоса были общенациональным сокровищем. Вадим (Славич) Синявский, любимейший спортивный комментатор страны, хрипловатый интеллигент со слегка блатной, свойской интонацией. Уважаемый до обожания кумир всех болельщиков!

У него, по легенде, пуля вышибла глаз, когда он вел репортаж из Сталинграда в момент взятия в плен Паулюса...

И там начинал тогда молодой Николай Николаевич Озеров, Коля, который в те поры еще оставался артистом МХАТа, но, будучи чемпионом по теннису, работал дополнительно и в спортивной редакции в «Последних известиях». Он был

фантастически вежливым человеком и, пробегая по коридору, всегда здоровался со мной первым! Я даже стеснялась его и тоже здоровалась издали.

И Арди, и Ананченко, и Юра Скалов, его взяли на войну мальчишкой, и всю Европу он прошел пешком как рядовой пехоты... Ему всегда больше всех хлопали на Девятое мая, когда коллектив ненадолго собирался в большой комнате.

Народ там был самый дружный и работающий. Шесть газет «Правда» в сутки — такой объем информации требовал работы на износ.

Радио слушали в СССР повсюду — в каждой почти избушке, в прокуратуре, в военных частях и любой деревне на столбе у сельсовета, в парках, парикмахерских и поездах в каждом купе и еще по коридору трижды, в детсадах, магазинах, поликлиниках, в кабинетах руководства сверху донизу, в комнатах коммуналок...

Была одна программа на всех. «Последние известия» народ слушал, но (как это ни печально) в основном ради погоды и спортивных результатов... Остальные новости были простому рядовому человеку напрочь бесполезны. Его жизнь не зависела от того, когда что посеяли, собрали и сколько чего и где выпустили. Все равно существование протекало помимо этой не всегда правдивой информации. Вот если бы сообщали, где дают простыни, посуду или сапоги — о! Чайники, диваны, колбасу! Где выкинули в продажу одеяла, колготки, книги Ахматовой! Но нет. Ходынское поле устраивать власти бы не разрешили. Этого боялись больше всего...

(Кстати, недавно я услышала, в чем было дело там, на Ходынке, во время коронации Николая Второго и почему народ повалил на это проклятое поле. Все дело было в неверно понятой новости: по городу сообщили, что в честь коронации всем будут давать по кружке с короной. А народ расслышал «с коровой». И за скотиной ринулись все.)

Один интеллигентный заключенный, завлаб института «Искож» (партийная кличка в кругу друзей Майкл), посаженный в 1983 году за то, что после акта списания не уничтожал прошлогоднюю аппаратуру и прилагающиеся шурупы (да ни один хозяин не выкинет гвоздочка! Да еще при тогдашнем дефиците всего!) — ему дали семь лет строгого режима с правом писать одно письмо в месяц за присвоение народного имущества в особо крупных размерах, — так вот, он после освобождения рассказывал, что у них динамик в камере находился за решеткой. Т. е. как бы на воле. И будил всех в 6 утра гимном. Они затыкали данную решетку тряпками. Майкл называл эту побудку «рев стада

коров»...

Такое было радио, одно на всех.

Александра Владимировна Ильина, как я уже говорила, заведовала культурой, самым бессмысленным, по мнению руководства, отделом в «Последних известиях». Все эти премьеры, вернисажи, концерты, фильмы и встречи с писателями, а тем более новые книги далеки были от нашего народа, который работал, растил детей, добывал пищу, разговаривал матом, а в свободное время играл в домино и варил самогонку. При этом бабы интересовались, где что дают, школами и больницами, а мужики футболом и домино. И все поголовно воровали с родных предприятий.

Не дашь же в эфир информашку о том, что плотник 4-го разряда дядя Дима Болотин припер из цеха (выкинул через забор другу) оргалит, поскольку жена уже его, Диму, достала, что надо сделать полки на кухню, а забойщик мясокомбината дядя Саша Речкин обмотался свининой как обычно и вышел через проходную беспрепятственно, только прохожие глядели во все глаза: идет человек, а за ним кровавый следок капает. У соседей свадьба, Нинку выдают, тетя Валя с первого этажа принесла бутылку своего, попросила.

Я писала хрен знает что.

То есть вначале меня, как рядовую необученную, кинули было освещать работу Министерства сельского хозяйства. Как ее освещать? Я отправилась в министерство этого хозяйства, нашла там какого-то немолодого сотрудника с внешностью трагического героя немого кино, тщательно причесанного на косой пробор, с черными подглазьями. В каком-то розоватом даже костюме. Щеголь такой. Он сидел у себя в кабинете, перебирал бумаги и радушно меня поначалу принял. Он заведовал чем-то научно-исследовательским. Фамилия у него была сложная, кончалась на «джи», как сейчас помню. То ли восточная? Поначалу он как-то значительно, с элементом легкой меланхолии, на меня смотрел. Но когда он разобрался, зачем я пришла, то начал бурно отнекиваться, протестуяще выставлять ладонь, поднимал-опускал ее, как в танце, говорил, что никаких новостей нету, и так меня и отправил восояси. Но я взяла его телефон и настойчиво ему звонила. А что было делать? Я же должна освещать работу министерства! Что оно, не работает, что ли? Потом, где-то через неделю, он обнаружил новость: изобрели такую штучку, которую опускали в кучу зерна. И если загорался красный огонек, то зерно было плохое. Ура! Я написала информашку под названием «Санитарный светофор». И ее прочли утром в воскресенье. Повторяю, радио у нас было одно на всю страну, и оно говорило

езде. Моя подруга прослушала эту интересную новость, позвонила мне и спросила: «Это ты, что ли, писала?»

Больше этот «джи», как я ему ни звонила, ничего найти интересного для меня не мог и даже попрекнул меня, что ему сделали замечание за разглашение информации. (Может, это была вообще липа?)

Как раз тогда наш руководитель Хрущев выдвинул идею послать это министерство в деревню. Переселить ближе к объектам, к колхозам. Которые находились в ужасной разрухе, как обычно.

И Министерство сельского хозяйства, в преддверии этой насильственной депортации на деревню к дедушке, держалось довольно конспиративно.

Затем, когда мой источник информации занялся переселением, меня поставили освещать работу ЦК комсомола.

Помню, я пришла в кабинет, где сидели три инструктора. У стола одной из них стоял спиной ко мне, опершись на стол и нависая над объектом, довольно полненький мужчина. Инструктор буквально делала ему выволочку:

— Вас куда посылали? Вы просили командировку в колхоз. Что вы будете писать портреты передовиков комсомола. А вы мне что принесли? Билет почему принесли такой, ездили на берег Крыма? Я это оплачивать не буду!

Художник, склоняясь к инструктору, негромко объяснял, что это была творческая необходимость... Что возникает такая определенная тяга... Ну, как бы интуиция ведет...

— А что это она вас ведет вместо колхоза на море?

— Понимаете, природа поиска... — жарко и убежденно говорил художник. — Духовность... Монастыри... Святые места...

Этим он ее доконал, сдал все документы и вышел довольный.

— Новый Афон ему, видите ли, нужен, — устало сказала инструктор. — Так, что у вас?

— Я из Всесоюзного радио, пришла, нет ли каких новостей.

— Вот! Вы видели? Художник этот Илья Глазунов вместо колхоза, куда мы его посылали, поехал на море. Месяц купался. А мы должны платить. Это новость.

Что-то большого потока информации ЦК комсомола мне тоже не принес.

И тут Юра Скалов отказался от освещения работы Союза художников. Говорил, что ему надоело одно и то же. Стоял посреди нашей большой комнаты и, улыбаясь, отмахивался, что не может больше. Я помню этот момент.

(На самом деле, как мне сказал недавно радиокomentатор Макс Гинденбург, просто Юра тяжело заболел. Он все меньше мог

ходить, однако и в таком состоянии работал. Потом стали отказывать руки. Он диктовал. Потом и совсем слег.)

Меня послали освещать жизнь Союза художников.

Оп-па! Я и написала вгорячах глубоко лирическую зарисовку с первой же выставки, которую посетила (мне все казалось, что надо улучшать стиль радиоинформации). Это была жуткая история.

Я начала свою информашку словами: «Тихая вода медленных северных рек...» (остального я не помню, может быть, дальше следовало «неспешная жизнь охотников, дальние костры по ночам») — после чего шли вполне конкретные дела: вот этому и была посвящена такая-то выставка, и кто автор, и число картин.

И вот диктор (кажется, Высоцкая), разбежавшись после потока новостей о задутых домнах и выданных на-гора тоннах угля, тем же деловым и суровым тоном быстренько начала: «Тихая вода медленных северных рек!..» и осеклась. Это было надо иначе читать, нараспев, что ли. Бедная диктор! В какое идиотское положение я ее поставила!

Скандала не было, только редактор Нина Скалова мне приватно очень мягко сказала: «Ну ты у нас прям Паустовский какой-то». Было очень стыдно.

Кстати сказать, особо теплого отношения к себе в редакции я не чувствовала. Приволок Арди какую-то девушку, кто она? А сам ее явно избегает... Подозрительно что-то. То ли потому, что жена рядом?..

Я ничего этого понять не могла, но общую отчужденность ощущала.

Пока однажды мне не велели сделать доклад на политинформации. О чем хочу. Некоторое испытание. Я и сделала подробный доклад о Пабло Пикассо. Он ходил в полузапрещенных у нас. А что? Он был же в свое время коммунист и борец за мир!

Я тогда читала польские журналы и нашла там замечательно хитроумное интервью этого удачливого и способного художника. Именно после доклада о Пикассо народ как-то принял меня. Подобрел. Почувствовал, что человек не опасается за свою шкуру, говорит свободно что хочет. Короче, своя девка.

Я трудолюбиво ходила на выставки, в мастерские художников. Посещала и запрещенных лианозовцев, и Васю Ситникова, и одного разудалого подпольщика скульптора. Они принимали меня охотно: а вдруг? Вдруг повезет и будет сказано о них доброе слово по радио? Но чудес не было. Скульптор, правда, больше всего одобрил мой магнитофон и даже что-то намекал, что неплохо было бы мне приходить и записать книгу его

воспоминаний. Но мне не понравились его работы, какая-то расчлененка, мускулы с мослами, и его разговоры о том, что он живет с девочками-близнецами, купает их в ванне. И я больше его не навещала.

Самое жуткое началось в 1962 году, в сентябре. Прошла дискуссия «Традиции и новаторство», на которой (за кулисами) я взяла интервью у Льва Копелева. Практически зал в Доме актера устроил обструкцию выступившему режиссеру Сергею Юткевичу (его называли Иудкевичем). Все были в эйфории: оттепель! Открылась знаменитая выставка в Манеже (30-летия МОСХа), и вот на нее провокаторы из Академии художеств специально пригласили «левых», и там была выставлена в том числе знаменитая «Обнаженная» Фалька, великого художника.

Но на этом вся оттепель и кончилась. Дело в том, что художники московского отделения союза перед тем написали «наверх» письмо об Академии художеств. Дескать, жрет много средств, и у других союзов нет никакой академии, а художники в Академии плохие. Что было чистой правдой.

Академия в лице художника В. А. Серова, специалиста по ленинской тематике, пошла в наступление. (У художников была даже песенка на мотив «Когда страна быть прикажет героем»: «Когда страна быть прикажет Серовым, у нас Серовым становится любой».)

Серов пригласил Хрущева и весь его кагал на выставку «левых». Показали и «Обнаженную» Фалька. Потом ходил анекдот, что на вопрос Хруща: «Этто шо?!» последовал ответ, и Хрущ переспросил: «Какая еще обнаженная Валька?»

Короче, власть, увидевши левое искусство, была в справедливой ярости, что и требовалось. Академию оставили. Серова избрали ее президентом. И выдвинули на Ленинскую премию работу данного художника, где был изображен Ленин, а рядом рабочий кулаком вперед. Член комиссии по премиям художник В. Попков (наш человек) сказал, что этот кулак впереди как-то выглядит идеологически неверно. Комиссия испугалась и отвергла серовское полотно. А Академия художеств в каком состоянии была, в таковом и пребывает. Как-то недавно за столом веселая молодежь даже предложила переименовать Москву в Цереград.

Я брала у этого Владимира гада Серова интервью после избрания его президентом. Я колдовала над пленкой долго. Монтировала. Я все его оговорки, все неграмотности оставила. Все его убогие мыслишки взхлеб, его нешуточное торжество. Пену у рта.

Без единого слова интервью приняли. Никто не заметил моей

хитрости. Даже Ильина (я за ней следила). И страна, выслушав, не содрогнулась. Тогда все руководящие на любом уровне так коряво, кособыло выражались.

(И сейчас тоже. Посмеивались над Черномырдиным, он стал даже героем типа Чапаева. Как-то наш умный народец любит тех, кто покривее и подурее. Опомнились, а он уже миллиардер!)

Оттепель (1962) на этом окончательно завершилась обledenением. На ближайшие двадцать три года.

То есть у нас любые попытки улучшения ведут к ухудшению.

Народу-то было в редакции немного. Спортивный отдел (великие комментаторы Вадим Синявский, Ник. Ник. Озеров), международники (известен был Валентин Зорин, все время яростно выводивший на чистую воду американский образ жизни и затем переехавший туда делать фильмы-обличения), а также отдел промышленности с с/хозяйством, это был самый большой и самый анонимный новостной блок (то там задули домну, то сям сев закончили, что-то ввели в строй, перевыполнили, заткнули некий «проран», что-то прорубили, произвели стыковку, залили, ввели, вывели, разрезали ленточку).

Кстати, о радиоязыке. Любимый глагол был «пустить» с разными приставками: запустили, выпустили, спустили со стапелей и пустили в ход. Международники использовали более ядренные формы, например, «распустить» (в смысле парламент), «испустить» (идея испустила дух), «допустить» (непарламентские выражения) и «напустить» (кого-то на кого-то), и даже имелось словцо «науськивание». Они все время язвили по поводу «военщины», «приспешников», «пособников», «подручных» и «марионеток». Им было можно язвить.

Ну и мы состояли при эфире, отдел культуры. У нас язык был самый скромный, никаких чужеродных слов и никаких терминов, народ не поймет. Если выставка — то цифры сколько и тематика о чем, не более того. И наши «сюски» (информашки) чаще всего летели в корзину.

Я так и говорила обычно, возвращаясь от дежурного по дню: «Меня опять забодали». Десять часов работы насмарку. И ходила плакать в комнату, где грохотали телетайпы...

Потом я ушла в журнал. Меня в «Последних известиях» поняли. Меня напутствовали добрыми словами. Мне Паша Майзлин напроорочил быть писателем, ни много ни мало, сказав: «У нас один уже был член союза писателей, Василий Ардаматский...»

Как это бывает: неудачная любовь — тогда сел в поезд и поехал. Кроме неудачной любви: никуда не устроилась работать, буквально последние деньги в кармане, и, как это тоже бывает: двадцать три года, рубеж, ощущение конца.

Итак, девушка, которая закончила учебу в университете, истфак, безработная, одинокая, потерпевшая полный крах во всем: плюс отношения с матерью (тоже, глядите, молодая женщина номер два и покупает два платья, одинаковых, но разных: розовое хорошенькое с незабудками по полю себе и коричневое в полоску мешковатое дочери, почему: потому что эта мать выходит замуж). Таким образом, взаимоотношения с матерью, в результате чего двадцатитрехлетняя дочь решает уйти. Уйти. Уйти можно к кому-то или куда-то. Можно уйти ночью, рыдая на улице, и поехать к подруге, встать заплаканной на пороге, без слов лечь на раскладушку и переночевать и утром за кофе выдавить из себя несколько слов; но не жить же у подруги: у нее ребенок, теснота, муж, у нее полно других подруг, кстати. Мало ли кто захочет ночевать. Дружбу надо беречь.

И вот эта двадцатитрехлетняя бездомная садится в поезд.

Надо особо сказать и о поезде: вагоны, в которых возили арестантов или телят, тридцать человек или семь лошадей. Пустой вагон, в начале и конце нары, посередине раздвижные двери, как ворота. На нарах вещи и матрацы: университет едет работать в степи Казахстана на три месяца, такой трудовой семестр. Так называемые стройотряды, причем явка студентов обязательна, на дворе шестидесятые годы двадцатого столетия. Кто не едет, идет на исключение из комсомола и т. д.

Чем не выход из положения, даром что наша девушка уже окончила университет только что, две недели назад. Чем не выход, бросить все, забыть, уехать, отодвинуть на три месяца: мама, мамин кавалер с чемоданчиком, как у слесаря, позор. Ужас. Жених, познакомились — сошлись. Познакомились, можно догадаться, в парке Горького, а что мама? Ей сорок три, но она как первоклассница: дядя сказал пошли, дам конфетку, у меня спрятано в сарае. Ни страха, ни стыда, только видно, что нравится, когда гладят по голове и целуют, и вообще обратили внимание на сиротку. Первый попавшийся, головенка кувалдой, рост как полагается у слесаря и наружность тоже, чемоданчик в руке, так и ходит по женщинам с чемоданчиком, слесарь с инструментом чинить прохудившиеся краны.

У мамы прохудился кран, и дочь, плача, съехала вон. Мама

стала какая-то ненормальная, кидается на каждый телефонный звонок, похудела, глаза какие-то фальшивые, без конца поет, а смотря в зеркало, ощеривает зубы (дочь наблюдает со стороны) и делает постороннее лицо, как-то выпятив нижнюю губу, ей кажется, так красивей. Противно разговаривает по телефону, тихо и в нос, тайно. Часто смеется по телефону же.

Таким образом, дочь пришла на сборный пункт к университету, села в автобус ехать на вокзал и с тем же коллективом автобуса села в вагон. Даже сдала последние деньги на питание руководителю, полный крах! Прощай, любимый город, прощай, любимый ОН, прощай, невеста мать-слесариха, прощай, жених матери, взятый с улицы, прощай, развал и позор, начинается новая жизнь без любви.

Так она думала, а между тем продолжение той же темы не заставило себя долго ждать, и первым проявлением данного полового вопроса было то, что когда укладывались на нарах ночевать (девочки в конце, мальчики в голове вагона), то под боком у Нины (наша дочь матери-невесты) оказалась девушка в очках, которая, вздохнув, прижалась головой к Нинину плечу, как дядька-слесарь к своей невесте, которой он был ниже ровно на ту же голову. Прижалась наивно, совершенно по-детски, поскольку младшие школьницы вообще склонны обожать выпускниц (подумала Нина, поворачиваясь на другой бок), а я для нее как десятиклассница для пятого класса. Нина перекатилась подальше, матрацы были постланы по всем нарам, полная свобода, вагон трясло, и старые неотвязные мысли посетили бедную голову Нины, вопрос как возвращаться встал над ней в бледных сумерках вагона.

Как возвращаться домой к слесарю-папе и слесарихе-маме, которая совершенно потеряла всякую самостоятельность и резко хохочет у них в комнате за закрытой дверью в компании своей кувалды и бутылки водки. Мама огрубела явно, опростилась, бросила свою дочь, в отсутствие жениха тревожилась, бросалась к телефону как тигр к добыче, боясь, что дочь нагрубит и вообще не позовет.

Так прошла ночь и еще двое суток, за раздвижными воротами вагона проехала целая страна, а затем поезд стали разгружать в городке, который сверкал почти непрерывными лужами, и повсюду, как в первый день творения, лежала жирная грязь. Дул прохладный сильный ветер, перепадали дожди, городок был олицетворение беспробудной тоски, такой местный ад, какой устраивают себе русские люди на пустом месте.

Открылось перед всеми, как вывороченное, огромное степное

небо с идущими лохматыми, драными тучами, было прохладно до озноба, сыро, ветрено, изредка сверкало в лужах солнце, студентов погрузили на автобус и повезли по ухабистой дороге куда-то еще дальше, в степь. Коллектив курса пел студенческие песни каким-то скачущим, плавающим звуком (мешали рытвины), а Нина глядела в окно, где степь проваливалась и возникала кочковатая степь, и Нина закрыла глаза, все исчезло, осталась только огромная скука, пространная как небеса, скука ветра в поле.

Ночь переночевали в общежитии дальнего совхоза под дивной картиной с моряком и девушкой в лодке, на картине стоял уютный розовый закат, за рекой черной полосой лежал какой-то лесной массив, и весь глупый студенческий народ приходил смеяться над этой картиной, а Нине было так хорошо под ней, даже хотелось украсть ее. На картине был вечерний покой и царила гармония, а вокруг в голых окнах виднелась грязь до горизонта с вкраплениями проржавевшей техники и каких-то прошлогодних незапаханных кустов репейника. Жить в этом общежитии было нельзя, среди металлических кроватей и стен, выкрашенных серо-зеленой масляной краской, частично облупившейся как раз над картиной. Наивный пейзаж наивно прикрывал протечку на стене, в этом был первый след разумной деятельности человека по украшению безобразия.

Здесь даже грустить было неуместно, здесь все было ни к чему, и только воспоминание о последнем разговоре с любимым человеком, а также о чемоданчике слесаря и о резком смехе матери заставляло девушку Нину говорить себе: нет. Нет возврата к прошлому. Детство оказалось поругано и предано, юность тоже, все совместные с мамой тихие мечты об отдельной квартире без соседки-хулиганки, вся счастливая история с получением этой квартиры, с украшением ее, все страшные сны о смерти мамы, после которых просыпаешься в слезах и с облегчением, что мама тут, теплая, родная, любимая, живая, — все это было помято и оборвано, народное выражение. Кстати, Нина находилась в положении как раз Гамлета в связи с замужеством Гертруды, и это не сулило ничего хорошего, думала девушка, глядя в пустое грязное окно на рассвете.

Что касается мыслей о собственной любви, то тут надо оговориться, что Нина любила разбитного молодого художника, хулигана с губами как у вампира, который (художник) рисовать Ниночку рисовал, водил ее по всяким теплым компаниям и мастерским и гулял с нею в парке того же Горького, только в более уединенных кустах — это когда родители сидели по домам, как куры в гнезде. Когда же куры уходили на работу, тут

начинался полный дебош, любовь и разврат, валялись то у Нины, то у художника по кроватям, делали что хотели. Художник-то был еще студент, жениться он явно не собирался и брал, видимо, Нину во временное пользование, имея обширные планы на жизнь. Уезжая в телятнике, Нина позвонила другу и простилась с ним «навсегда», на что он ей ответил «приедешь, звони». С улыбкой, кстати. Ответил как рабу на веревке, явно усмехаясь.

Далее, глава вторая нашего повествования трактует о том, что и в этом общежитии данных студентов не оставили, среди цивилизации, грязи и кустов репейника, а запузарили отряд вместе с казенными тюфяками и консервами в дальнейшую степь, в абсолютную пустоту среди травянистой земли, где в центре мира стояло три вагончика жилых и четвертый вагончик кухня, и единственное, что напоминало о современности, были столбы с проводами, уходившие за край земли в виде разнообразно торчащих спичек.

Эта земля, покрытая после дождей травкой, как-то звенела, звенели птички, провода, дул постоянный теплый ветер, небо разверзлось до бесконечности, светило солнце. В виду всего этого Нина ушла, легла навзничь в траву и стала смотреть в пустые небеса, с тоской любви вспоминая о своем художнике: все-таки это счастье у нее было, вспоминать и любить.

Тем не менее вскоре стало не до тоски и не до мыслей вообще: началась великая местная стройка коммунизма, возведение зернохранилища, уже был всажен в почву фундамент (по легенде, года три назад руками армян-шарашников), были завезены горы бута (крупных камней) и насыпи щебенки, затем на заре заскрежетала бетономешалка, похожая на вращающуюся ржавую бочку, и дело пошло.

Всех рассортировал начальник отряда, аспирант Витя, и отныне, повязавшись белыми платками, девочки стали грузчицами, а мальчики каменщиками. Девочки таскали на носилках камни, цемент и щебенку, а мальчики возводили стены.

Воцарилась египетская рабовладельческая жара, воды не было вообще, ее возил к ним, солоноватую в бочке, казах на кривоногой местной кобыле. Работа начиналась в шесть утра по холодку и кончалась в шесть вечера с перерывом на макароны, украшенные крупными кусками бараньего жира. Каторга с ее законами, с жесткой дисциплиной перебивала все мысли, всяческие печали, ревности и воспоминания. Нина быстро стала как выючное животное и засыпала за секунду, завалившись рядом с носилками, когда другие девочки их загружали. Сна было полминуты.

Вечерами, однако, как все молодые щенята, студенты

заводили костры, ночь впереди казалась бесконечной, раздавались песни под гитару. Возбужденные мнимой ночной свободой, рабы не спали, пили чай, угощали друг дружку консервами и пряниками, завезенными из Москвы (Нина ничего не взяла с собой), воровали с кухни толстые теплые огурцы, гуляли по черной степи под огромными звездами и дышали дивным ароматом ночных трав, и вот тут начались разнообразные тонкости каторги.

Собственно говоря, странный народ были эти юные студенты какого-то там факультета точных наук. Между мальчиками и девочками не образовалось никаких отношений, как это бывает на воздухе по ночам. Особенности были мальчики и особенности тоже девочки. Мальчики почему-то сторонились девочек, Нина это увидела сразу. Правда, девочки были неказистые математические чувырлы в очках или тети Моти с толстыми плечами, будущие училки. Мальчикам же и полагалось в этом возрасте быть цыплячим молодняком, в семнадцать-то лет, но все это, Нина заметила, был какой-то брак природы, умнейшие из умных, но без сил, без воли к воспроизведению себе подобных. Из них не перла бугром страсть, не возбухала сперма — как сомнамбулы, оставшись без своих книг и приборов, они торчали на стройке, ворочая камни, укладывая их наиболее рационально.

Стройка уже напоминала руины вконец разрушенного Колизея благодаря стараниям мальчиков-каменщиков, которые иронически встречали каждый раз очередных двух верблюдов-девочек, несущих им глыбы. Ирония царила в стане мальчиков и в стане девочек. Девочки тоже сторонились мальчиков. Станные, даже не платонические взаимоотношения полов царили на этой каторге, но Нине было не до наблюдений: кое-как привыкнув к труду, она снова затосковала и начала мысленно писать письма далекому рабовладельцу, никогда ни строчки матери!

Но в целом Нина, видимо, тяжело переживала свое преображение в каторжанку, болела, слабела, затем началась спасительная температура, и месяц спустя Нина блаженно завалилась на тюфяк за железной печкой в углу вагончика, в жару и полубреду в раскаленной духоте. На воле, в степи, было еще горячее.

Внимание, глава третья начинается с того, что начальник Витя съездил на центральную усадьбу совхоза и купил кому что: зубной пасты, конфет-подушечек, сигарет, конвертов и школьных тетрадок в клеточку и в зеленых обложках, как раз писать письма.

Денег все еще не выдавали, царил настоящий коммунизм, Витя сказал, что цену купленного потом вычтут из какой-то неизвестно какой зарплаты, ладно. Плюс к тому всем привезли

рабочую одежду, подарок морского флота, списанные тельняшки и белые матросские клеши из ткани, близкой к брезенту. Все радостно переоделись в одинаковое, работа кипела, а Нина слонялась еле-еле, держась в вагончике за нары, и все ее существо (вот парадокс природы) было охвачено любовью к далекому обормоту, живому, красивому и теплomu, хотя и закоренелому эгоисту, скуповатому и себе на умишке.

Однако на фоне тех цыплячьих теней, которые возводили Колизей, тех сугубых интеллигентов в очках, которые торчали как пугала во всем матросском на крепостных стенах, Нине ее милый казался чудом природы. Реальное, грубое и плотское здесь, на этой каторге математиков, выглядело как нечто недостижимое, как идеал и элегическая мечта.

Опять-таки тетрадка в клеточку, наконец-то обретенная, манила писать неотправляемые письма, в которых Нина тоже давала волю иронии и самоиронии, описывая с большим юмором весь этот балет невылупившихся цыплят и свою болезнь среди этого довольно жизнеспособного, не заболевшего ничем народца.

Нина вообще-то в прежние времена, на воле, слышала со всех сторон о том, что она красotka (пришел со своей красоткой, говорили друзья художнику), она была, что называется, в стиле времени, маленькое тело фордиком, длинные ноги, общая хрупкая конструкция, но на каторге именно изящные красотки быстро иссыхают даже в юном возрасте, и Нина, махнув на себя рукой, худела, чернела, превращалась в скелетик, носила белую, как все, бабью косынку от солнца — на всех девочек разделили три простыни — и в болезни стала выкарабкиваться на божий свет в виде старушки матросского происхождения, в платочке, тельняшке и грязно-белых штанах. Маленькое зеркальце на стене вагончика отражало запавшие черные глазищи и, отдельно, потрескавшиеся губы, когда-то пухлые.

Куреву-то было, это освещало всю обстановку, вносило хоть какую-то долю плотского удовольствия, и, задумчиво дымя, сидя в короткой тени вагончика и глядя на раскаленную степь, Нина вспоминала далекого коварного друга и этим держалась.

Тут ее однажды, придя с обеда, застала одна из девочек, чудовище в очках, та, восхищенные взгляды которой ловила на себе наша героиня еще с первой ночи в вагоне на тюфяке.

Чудовище звали как-то сложно, типа Глюмдальклич, что-то азиатское, и откуда она вынырнула, Нине было неизвестно. Эта Г. видала виды, о чем уважительно говорили девочки в вагончике. Сама Г. ночевала на воздухе в палатке среди особо доверенных подруг и в компании туберкулезной Маши. Насчет Машиного туберкулеза все знали, Маша сама, блестя зубами, тугими

красными щеками и маленькими черными глазами, рассказывала: обманула комиссию, взяв чистый бланк у медсестры, и заполнила его как выписку из истории болезни — Маша была ветеран туберкулезного движения, она знала все термины не хуже любого медработника. Маша все время радостно хохотала, вид у нее был цветущий и румяный, торчащие щечки, тугая черная коса и кожа как молоко. Однако Машу командир отряда Витя поставил не на погрузку, а к поварихе на кухню подальше от камней и носилок. Результат был такой, что Маша вставала раньше всех, в четыре утра, и еще долго после ужина драила котлы как ненормальная, выскребая сало, иногда и до одиннадцати: ребенок оказался энтузиаст, а может, она так натосковалась по больницам, что жизнь в труде казалась ей раем, все может быть. Так что она сверкала темным румянцем и спала на земляном полу в палатке, пока командир Витя, бледный ученый стебелек, аспирант без права отцовства (студенты говорили, что он ищет вдову с двумя детьми, именно вдову по неким причинам, и обязательно уже с готовыми мальчиком и девочкой, чтобы решить вопрос раз и навсегда, студенты все знали) — так вот, бездетный, бесплодный и бесплодный Витя как-то раз днем заставил Машу померить температуру, и Маша тут же уехала в Москву на попутке, все так же смеясь и блестя багровым румянцем: родители семнадцатилетней сбежавшей Маши предъявили на факультет подлинные анализы, и Маше теперь лежала дорога напрямую в больницу.

И, поскольку таких добровольцев среди каторжан было всего-то двое, Маша и Нина-в-депрессии, то теперь Нина осталась в одиночестве как энтузиаст далекой стройки.

Глава следующая, что в палатке единственно кто остался — это Глюмдальклич и ее подружки, которые, кстати, звали ее Гуля. И теперь в связи с отъездом единственного постороннего лица и освободившимся тюфяком начались крупные интриги. Палатка и девичий вагончик кипели. Туда шли, туда рвались, оттуда возвращались как побитые, и вечерами Глюмдальклич пела у костра песни под гитару, а все девочки в полном упоении подпевали, окрашенные в ярко-розовый цвет отблесками костра, уставившись в огонь красными глазами, в которых мигало пламя.

Нина оставалась в стороне от событий, печальная особа с потрескавшимися губами и в низко повязанном белом платочке, и один Витя посматривал в ее сторону с явной любовью и тревогой. Правда, он так смотрел на всех своих детей, и Нине даже не приходило в голову тряхнуть стариной и оживиться при виде заинтересованного мужчины. Она все носилась со своей печалью о далеком возлюбленном, изменчивом коте с вкрадчивой

походкой и неприлично темным ртом. Горе, горе.

И вот тут-то Гуля, слегка похожая на очкастого лягушонка, настигла грустную Нину в тени вагончика, когда та писала в зеленой тетрадке очередное неотправленное письмо. Глюмдальклич сразу приступила к делу. Она сказала уверенно:

— Ты можешь меня любить?

Нина ответила, как учительница, что шла бы ты подальше со своими шуточками. И без тебя тошно. «Ну-у, — протянула эта Гуля, подсмеываясь, указательным пальцем, — а если я хочу, чтобы ты меня полюбила?»

— Выходи за меня замуж, — затем сказала Глюмдальклич, глядя в степь своими выпуклыми очками. Вылитый лягушонок.

— Я тебе не пятиклассница, играть в эти игрушки, — ответила Нина.

При этом у нее что-то вдруг ухнуло в области желудка. Нина испугалась, как люди пугаются сумасшедших.

— Нет, почему в пятом, — активно возразила Гуля. — И напрасно ты меня не любишь.

С этими словами она встала и пошла вон, т. е. за угол вагончика, грязненькая, в обвислых парусиновых штанцах, на тонких кривых ногах, держа окурки большим и указательным пальцем.

— Да откуда ты взяла, — вяло ответила Нина, подумав, что эта психбольная недаром там в вагоне подваливалась ей под бочок.

Нина продолжала писать свое бесконечное письмо, в котором ни единого слова не было о любви. Она вдруг вспомнила этот теплый московский мирок, мастерские, пьянки, гулянки по паркам, все эти дни рождения друзей на затхлых подмосковных дачах, все эти поздние такси, вечерний мятый снежок на бульварах под фонарями, яблочно-зеленые небеса по ночам, уличные поцелуи до головокружения, когда не было места спрятаться, бездомность, грязные лавки, на которых они сидели, приткнувшись сверху, как воробьи на жердочках.

Несколько дней спустя Нина вдруг с ужасом обнаружила, что потеряла свою зеленую тетрадку в клеточку, в которой писала письма. Планомерно и лихорадочно, с трясущимися руками (а вдруг они прочли), Нина обшаривала вагончик, пока все были на работе — у Нины держалась температура, и Витя не пускал ее на стройку.

Итак, обшарив свое отделение вагончика, Нина перебралась в соседнее и там, прямо на подоконнике, обнаружила наконец свою тетрадку, охнула, схватила ее и метнулась к себе. И только там она уже раскрыла тетрадь и тут же, на первой странице, прочла

нечто не свое и невообразимое, полстраницы непристойного вопля о любви, скрежета и воя: она меня не любит, она меня забыла, меня, свою Таню, теперь у нее Валентина и т. д. О Гуля, Гуля и т. д.

Нина вернула тетрадь на то же место на подоконник, легла обратно за холодную печку и все обдумала. Да, палатка — теперь понятно, что это гарем Глюмдальклич. Да, они плачут и ссорятся, эти девочки. Теперь Нина припомнила, что одна студенточка, единственная хорошенькая здесь, типичный младенец в кудрях, вылитая головка Грёза, у костра рассказывала, как Глюмдальклич выселяли из ее комнаты в общежитии и, когда их подняли с ее, младенца, постели, она, младенец, демонстративно тоже ушла в ночь вместе с Гулькой и сидела с ней вдвоем за компанию всю ночь где-то у запертого подъезда на ступенях, и потом пришлось лечь в больницу из-за воспаления придатков, простудилась сидя зимой на каменных ступенях, доверчиво рассказывал младенец.

Все они, думала Нина, все они как одна такие, кроме разве что рыжей девочки, которая что ни ночь покидала вагончик и проваливалась во тьму, чтобы встречаться, Нина это знала не хуже других, со своим мальчиком, с единственным Казановой в отряде, который имел внешность молодого аиста, ходил вечно в черных очках, задравши нос к небу, и носил всем напоказ бледное поэтическое лицо, которое, правда, скоро почернело и обветрилось от степного солнца, но осталось надменным, он тоже жил как бы в стороне от всех мальчиков, не играл с ними в шахматы и в китайскую игру го, не говорил как все одними презрительными шуточками в адрес недостижимых девочек: у него девочка была, эта самая рыженькая, и каждую ночь он встречался с ней в крошечной ночной степи.

Ненависть и презрение рисовались на лицах мальчиков, никаких контактов с девочками, никаких диалогов за кухней, с глазу на глаз.

Нина все поняла.

Поняла-то она поняла, а вот Гуля каждый вечер бросала свой гарем и подсаживалась к одинокой Нине, заводила с ней разговоры о любви как таковой, дарила ей огурцы и сигареты, говорила о желании умереть, говорила, что ничего ей в этом мире не дорого, я одна, одна, из общаги поперли, снимать комнату денег нет, ушла от матери, учиться надо из последних сил, это единственный шанс, а работать где? Не цемент разгружать же, как ребята ходят на Москву-товарную, сил таких нет.

Нина слушала все это, не гнала Гулю, не обижала, боялась, как тогда, а теперь еще боялась обидеть ненормального человека, хотя Гуля вела себя нормально. Не приставала, не хамила, не

трогала, сидела грустная, взъерошенная, нищая, сильная как скала, убежденная в своем праве любить кого хочется. Один вечер Нина просидела одна, Гуля не явилась за вагончик, прошли и растаяли во тьме Казанова и рыженькая, вдали горели стога, над горизонтом стояло зарево. Каждую ночь табунщики жгли солому, чтобы дать лошадям отдохнуть от слепней.

Писать письмо было темно, в вагончиках уже устраивались на ночь, в фанерную стенку за спиной Нины все время стучали, ударялись, видимо, коленями и локтями, стеля постели и ворочаясь на узких нарах.

Было как-то особенно пусто и печально, и Нина пошла в свой вагончик. По дороге она увидела палатку, там горела, видимо, коптилка, палатка светилась изнутри уютным розовым светом, и там тихо смеялись, что-то брякало, посуда, наверно: собирались пить чай. Голос Гули произнес негромко «А иди ты, пятачок», и у Нины вдруг оборвалось сердце. Оно так вздрагивало, только когда в телефонной трубке появлялся голос Кота. «Ничего себе как я к ней привыкла, — подумала Нина, — ничего себе!»

Как будто пришло к ней то, что невозможно контролировать, нельзя задавить, нечто не зависящее от воли — что же, скажете вы, обычная каторжная, лагерная привязанность, тяготение людей друг к другу, скажете вы.

Есть вещи, скажете вы, неконтролируемые, такие как страх потерять, обида, такие как ревность и тоска, такие как дружеское расположение, жалость и страсть.

Нина, растерянная, подавленная, лежала за печкой и слушала раздающиеся в ночной тишине приглушенные восклицания и довольный смех девочек в палатке, потом все замолчали, только кто-то специально покашлял, как бы подавая какой-то знак.

Нина поняла, что с ней играют тонкую игру, что здесь великолепно разработанная психологическая ловушка, сначала шок, потом плавный переход к нормальным человеческим отношениям, успокойтесь, никому вы не нужны, потом идет приручение, теплая дружба, доверие, несмотря ни на что, все же люди, мало ли что у кого, а затем безжалостная быстрая разлука, смех с другими, дружба с другими — и готово, зайчик попался! У зайчика бьется сердце от одного звука привычного голоса.

Нина заснула с трудом.

Все, однако, разрешилось на следующий день после обеда: приехал вызванный добряком Витей доктор отряда. Все отсутствовали, Колизей рос и рос вдалеке, а врач, молодой университетский болван из поликлиники, небрежно осмотрел Нину, затем задумался, как бы уцепился за что-то, стал прослушивать и простукивать, уложил на топчан, мял живот,

побарабанил по ключицам и сказал «м-да».

Нина лежала, слегка задыхаясь, и думала, как это приятно, когда тебя трогают такие независимые, профессиональные мужские руки, так внимательно доискиваются, где же причина, так заботятся вообще, безо всякой собственной цели.

Доктор сказал «полежите пока», ушел, уехал на своемезде, а потом явился Витя, проводивший врача. Нина догадалась, о чем он думает, потому что Витя заговорил о Маше, что ей плохо, у нее в больнице в Москве открылось легочное кровотечение. Видно было, что Витя уже готовый отец, он уже приспособлен для того, чтобы быть отцом чужим детям, любить их, хлопотать о них. Он хлопотал вокруг Нины, принес из своих запасов витамины и антибиотики, а потом побежал на стройку. Когда вечером приползли с работы девочки, они уже всё знали и сообщили Нине, что ее забирают в больницу в Булаево, у нее или плеврит, или пневмония.

Затем явилась Глюмдальклич со своими пустыми словесами, пустая, как шелуха, себялюбивая, корыстная, ненужная, как нелюбимый мужчина, который пристаёт, потому что у него нужда, — разряд людей, ненавистный для молодой дамы, которой теперь являлась Нина. Глюмдальклич говорила, говорила, сидя на нарах, опять все те же пустые фразы, одиночество, ночество.

Нина собирала свои вещички, нашла под тюфяком пропавшую тетрадку, которую явно читали посторонние глаза — тетрадка пахла как-то иначе, и иначе, более свободно разворачивалась, почти разваливалась.

Глюмдальклич, не моргнувши глазом, одиноко и значительно, как мужчина, закурила, помолчала и ушла к себе в палатку, и до глубокой ночи там звенела гитара, и известный голос страстно и плачевно зывал к ушедшей любви, а девочки дружно подхватывали припев: «Скажи ты мне, что любишь меня!» — весь гарем хором. Уже и Виктор что-то бубнил в палатку, и ему задорно отвечал голос Глюмдальклич, а Нина лежала, задыхаясь, и терпеливо ждала утра, только бы убраться отсюда, не видеть и не слышать.

Девочки из вагончика утром, уходя на стройку, попрощались с Ниной чуть ли не как с покойницей, то есть мрачно, по очереди. Они, физически окрепшие на каторге, оставались, их впереди ждала зарплата, банный день обещали, даже выходной или с поездкой на озеро, или с походом в кино на центральную усадьбу, и мало ли еще что. Часть девочек уже перестала работать грузчицами, их кинули на саман — лепить из глины, соломы и коровьего дерьма кирпичи, и все их разговоры и мечты были о

бане. Кроме того, они любили свою Гулю, вокруг была раздольная степь, и ничто не мешало маленьким страстям гарема кипеть и разрешаться. А за самовольный отъезд со стройки полагалось исключение, выгоняли отовсюду — из комсомола и университета сразу, всё.

А Нина отправлялась в собственное странствие, сначала на грузовике, потом ее посадили в маленький местный поезд, она повторяла, видимо, Машин путь, поскольку ее приняли в районной больнице, где Машу помнили, и одна сестра даже сказала: «Шустрая была ваша Маша, дитя помирает, а чести своей не теряет. Смеялась все».

Потом, оказавшись дома, привезенная испуганной, умоляющей матерью, которая пришла забирать ее к поезду, и дома даже и тени не было ни сантехника, ни его чемоданчика — оказавшись дома, Нина вызвала к постели своего милого художника, он явился раз и другой, был заботлив, а потом слинял как обычно. Кот есть Кот.

И вот тут, в октябре, как из преисподней, раздался голос по телефону, голос Глюмдальклич. Пьяная Гуля, не в силах, видимо, забыть, умоляла разрешить приехать, такое одиночество... ночество... Никто не люууубит... уубиит... Как из преисподней, сообщила, что ее выгнали из университета, прямо сказали, что за совращение несовершеннолетних, да, и теперь она работает укладывает асфальт... Живет опять в женском общежитии (она невольнo хохотнула). Никого у нее нет, никто ее не любит.

Тут же в опровержение вышесказанного в телефонный разговор вмешался посторонний голос, женский, пьяный, лихой, предложивший послать всех на хел, плошу площения. Играла дешевая музычка там, как в аду, заунывная, из подполья. Нина лепетала что-то фальшиво, чтобы окончательно не убить эту несчастную, «болею, болею», на что Глюмдальклич с мужской прямоотой браво отвечала, что это ничего, я не боюсь заразы, зараза к заразе не липнет. И вылечим тебя, бутылка есть — есть, прямо в трубку задудел другой женский голос, — плиедем и все, а иди ты к челту (это она адресовалась к Глюмдальклич, сопровождая, видимо, слова локтем). Далее повела свою партию Гуля, она по-мужски откровенно пожаловалась, что переспать-то есть с кем, но — и пьяный голос придвинулся и сказал «есть, есть, плиезжай», — но одиночество, ночество — как всегда, уверенная в своих силах и крепкая как скала, она вела осаду планомерно, несибаемо.

Нина тихо возражала, что приезжать не надо, нет, а в ответ в телефонной трубке гремела дешевая плавающая музыка, там, наверно, шел свой вечный праздник с огнем и дымом, гулянье

ничем не хуже других гуляний, однако Глюмдальклич настойчиво твердила об одиночестве и тоске, что нет никого и ничего, что не с кем даже поговорить, и пьяный голос подтвердил вдали, да, не с кем.

Нине тоже не с кем было поговорить, так получилось, совпадение, к подруге ехать не хотелось, полный дом родни, — но с Гулей она говорить не хотела совершенно. «Пока», — сказала Нина, когда Глюмдальклич начала бормотать что-то совсем уже кошмарное типа «сделай мне ребенка», хлопнула трубка, ад отключился, все умерло, однако ад не умирает и не сдается, и долгие месяцы потом Нина вынуждена была разговаривать по телефону с Глюмдальклич, все еще стараясь ее не обижать, и выслушивала от нее фразы типа «давай поженимся» и т. д., терпела, чтобы не убить человека, потому что и об этом страшная Гуля уже вела разговор, о том, чтобы уйти, раз я всем мешаю.

Г. звонила отовсюду, с любого увиденного ею телефона, всегда вооруженная монеткой для телефона-автомата, она регулярно покидала свой асфальтоукладчик и мчалась, едва завидев будку (видимо), поскольку звонила по шесть-семь раз за смену. Т. е. ее агрегат полз со скоростью шесть-семь телефонных будок за смену. Она, как было понятно, упорствовала, надеясь на случай и на отчаяние. Она говорила о нищете и о том, что пьяные ремонтники ее изнасиловали в обед в вагончике (решили проверить, сообщила она с усмешкой), Г. сама часто бывала пьяной, дай я тебе заплачу, у меня аванс на руках, только выйди, спустись ко мне, выйди, я тебя повидаю, скажи ты мне, что любишь меня.

Следующая глава у нас могла бы начаться с предположения, каково могло быть Нинино будущее. Молодые умирают гораздо чаще чем мы думаем, больницы полны юными смертниками, которые сидят за двойными стеклами и не могут выбраться на волю, только во двор погулять, иногда во внешний мир парочками, как это проделывала смешливая Маша, прежде чем Нина узнала от Глюмдальклич, что Машу-то схоронили. Весь курс был, все пришли. Все ее уважали. Г. по этому поводу была пьяна и говорила, что Машка-то... Машка-то... маленький малыш, я ее не трогала... она больная была, все знали. Она обманула врачей, думала, что земля ее излечит, тяжелый труд на воздухе, спала на земле, чуть ли не ела эту землю... Боролась Маша, да. Витя тоже был на похоронах, аспирант, куратор курса, он, оказывается, женился, нашел разведенную женщину-врача с тремя маленькими детьми. Гудки, конец связи.

Нина свободно могла бы быть на месте Маши, могла бы и попасть в санаторное отделение психбольницы им. Соловьева, как

советовала маме мамина подруга, глядя, что здоровая девка сидит и держит телефон на коленях, ожидая (бесплодно) звонка, подошел и ее черед, она не спит, не ест и не устраивается на работу, хотя денег у матери не хватает даже на еду; Нина затем могла бы свободно оказаться в положении Глюмдальклич, если бы сбежала от материнских наставлений работать на завод с предоставлением общежития; но судьба распорядилась иначе, спустя год мы уже застаем Нину на службе (редактор многотиражки одного из институтов), вокруг полно мальчиков вполне земного вида, в том числе и один Николай, выпускник, младше Нины на три года, но это незаметно, поскольку она-то худенькая, а он крупнее и выше, ходит как тень за Ниной, дежурит в редакции, провожает ее домой, пригласил на день рождения домой к папе и маме, все, планка падает, рубеж взят. Нина невеста, мама вся прямо поникла, когда Нина ей это сказала, восприняла как удар судьбы: почему, спрашивается? И покраснела. То ли вспомнила, как сама была невестой? Короче, они расстаются, мама с дочкой. Нина будет жить у мужа. Мамино розовое в незабудках платье висит в шкафу, она его бережет на случай появления Кого-то (с большой буквы). Вопрос типа «у тебя Кто-то?» она задавала этой своей подруге по телефону однажды, когда та не хотела с ней говорить.

Нина — продолжение нашего разговора — как-то возвращалась из города Балашихи домой, дымным зимним вечером, вскочила в автобус, и вдруг сердце у нее дрогнуло от ужаса: ей послышался совершенно явно голос Глюмдальклич. Источник голоса, по виду небольшой мужчина в замасленной кроликовой шапке, стоял впереди, спиной к Нине. Речь у Глюмдальклич шла о том, что почему ты (имелась в виду ее собеседница, молоденькая женщина тоже в кроликовой шапке, но поновей) — почему ты вышла замуж тогда и ни разу не зашла ко мне, а эта собеседница, милое личико под шапкой, светлые честные глазки, плюс к тому нечистые, спутанные кудряшки из-под меха — она радостно возражала, что уже все, уже развод, все, я от него ушла. — «Но ты меня бросила, — приглушенно гудела Глюмдальклич, — меня выселили из общаги, я голодала прямо». — «Все, все, — горячо и убежденно твердили светлые глазки и кудряшки, — теперь все, ты увидишь!» — «Увижу, — упрямо и обиженно тянет Глюмдальклич. — Предала, теперь все».

Они внезапно стали пробиваться к выходу вперед и сошли, обе небольшие, худые, и Глюмдальклич, в костюме рабочего и в промасленной ушанке, мелькнула в проеме и пропала.

Это тоже была Нинина остановка, и она осторожно выглянула из задней двери. Путь оказался свободен, можно было выбираться

из автобуса. Далеко впереди Глюмдальклич шла широким шагом, сцепившись об руку с подругой в тесный нищенский узел.

Нина шла за ними, как преследуемый за охотником, то есть замедляя шаги.

Парочка провалилась в подземелье метро и пропала.

— Скажи ты мне, что любишь меня, — тихо запела на морозе Нина (люди иногда поют для себя на улице) — и вдруг она заплакала, вспомнив своего милого Кота и эту пору безумной любви, когда она сидела у телефона в ожидании, а вместо Кота звонила надоедая Глюмдальклич в сопровождении хора под гитару, все звонила и звонила, сквозь дым костра своего ада.

— Скажи ты мне... Что любишь меня... — пела, захлебываясь слезами, Нина.

Вместо интервью

Уважаемая М.! Я знаю, что Вы собираетесь уходить в декрет, и я у Вас одно из заданий. Всегда уважала трудящихся беременных. Интервью я не даю, это почти зарок. И вместо нужного Вам интервью я вот села писать Вам это письмо.

Привет Вашему Кенгуренку. Он (она) слышит. Скажите: «Тебе привет!» Кстати, ребенок сам присылает нам свое имя, мне кажется. Вот он вам сообщил, что его зовут Кенгуренок. Одного моего маленького родственника сначала называли Мартыш, потом Кузя и Кузява. Один мальчик в грудном возрасте был известен как Митрич, другой имел кличку Мышепотам и потом был Шедя Паллаш. Одну девушку сначала звали (во младенчестве) Утя, потом Мурочка и затем Сметана. Девочка Аня в детстве была Мышь. Трехлетнего лохматого блондина Петю одна из бабушек называла исключительно Петр Первый. Девочку Тamarочку (она теперь архитектор) с пеленок зовут Трикасюля.

Ребенок Манька звалась Букашка, теперь ее нет на свете, девочка с огромными глазами. Когда ее провожали, многие люди бормотали: «До встречи». А ее отец потом сказал, что встретиться с Машей там будет трудно, это надо очень постараться.

Чем больше у человека имен, тем лучше. В России, кстати, чтобы отвести от человека раннюю гибель, порчу и сглаз, ребенка называли как-нибудь похуже, чтобы темные силы не польстились: Плох (Плах), Нехорош, Немил, Ненаш, Невер, Неустрой, Неож, Невзгляд, Некрас, Невзор. От этих имен затем произошли такие фамилии, как Некрасов, например.

Это наш характер, не дай бог накликать беду. Серенькое утро, красненький денек. Это наше, рассказывать друг другу свои истории. На лавочке, в поезде, в пивбаре, в метро.

И мне приходилось слышать много разных случаев.

Вот страшная история про убийство молодого парня, а убил его старший дружок, просто так, поссорились из-за девочки Лелечки. Младшего звали Володя, старшего Женя. Приходи завтра, побазарим, сказал молодой Володя. И пришел на встречу, взявши двух друзей. А этот горячий парнишка Володя был восемнадцати годков, стихи писал подражал Пушкину, красивый был, кудрявый, учился за границей, получил стипендию как талант. И все для чего? Чтобы этот Женя в результате нечаянно его убил. Володя перед тем всю ночь молился и стихи писал перед смертью, оказывается. Как предчувствовал. Стихи остались. Дальше. Женщина замужняя, солидная, тетя Аня, бросила мужа, он был тоже солидный какой-то начальник на государственном

уровне. Она его уважала, но не любила, даже не знала, а любит ли он ее. И тут вдруг впервые она полюбила. Какой-то молодой майор из Генштаба, что ли. Ушла к молодому, причем ребеночка оставила мужу и няне, чтобы не таскать его с собой по снятым квартирам. А молодой ее потом бросил, и она, тетя Аня, поехала на станцию Железнодорожная Горьковской ветки и там бросилась под поезд. Это я пересказываю своими словами, как вы уже догадались, содержание «Евгения Онегина» Пушкина и «Анны Карениной» Толстого.

То есть не я первая сочиняла такие жуткие вещи.

И это я отвечаю на тот вопрос, который мне задают везде, и за границей тоже. То есть не то чтобы мне его напрямую задают: зачем вы ТАКОЕ пишете, нет, просто публикуют рецензии, скажем, в Италии, и сообщают, что автор нам рассказывает о тяжелой судьбе российской женщины. Неизвестно зачем.

Типа успокойтесь, мы итальянцы, с нашими красавицами такого не случится! Просто автор такой печальный, поскольку пишет о неполадках в своей стране.

И ничего подобного.

Во всех странах и во все времена писатели сочиняли именно тяжелые, печальные истории.

Если приходится выступать перед иностранцами (а они всегда задают мне этот вопрос, почему в РФ так плохо приходится женщинам?), я им тоже всегда говорю примерно в таком духе, что, простите меня, но ведь у Шекспира, у Еврипида и Софокла, у классиков драматургии, что ни возьми — почти всё плохо кончается. Все убиты. Сплошной кошмар! У Дрюона вообще кожу с живых героев сдирают. У Мопассана сплошь и рядом бытовые разборки, проститутки, то ножик втыкают, то кто-то ребенка бросил, личные трагедии. У Чехова стреляются, убивают, а то ребенок умер...

Мои иностранные читатели кивают и вроде бы понимают.

Когда мне наши отечественные исследователи тычут в нос свои статьи, где написано, что я интересуюсь все больше какими-то жуткими сюжетами, и вообще, все ли в порядке с добротой у этого автора, то приходится в панике ссылаться, что я не первая. У Карамзина Лиза утопилась, у Гоголя тоже то утопленница, то Плюшкин, то Ноздрев с Вием, один другого краше персонажи. У Чехова, у Бунина в «Темных аллеях». У Достоевского-то! У Набокова! Сидит человек в тюрьме и вспоминает, как жил с ребенком своей жены. А ведь это классики, наши учителя.

Второе, чего не хотят прощать писателям: ладно, такие уж они уродились мрачноватые (или нарочно придуриваются, что они таковые), но почему, изобразив ошибочную человеческую

судьбу, писатель не произнесет прямо — так жить нельзя! И не осудит подлецов! И не подскажет, как вообще просуществовать нормально.

Отвечаю: прежние писатели вообще-то обычно пытались тонко, ненавязчиво намекнуть читателям, кто прав в их произведениях. Для этого они как бы подбирали отрицательному герою положительного антипода. Плохой Обломов — правильный Штольц. Ходок Онегин — верная Татьяна. Блудница Анна Каренина — хорошая девочка Кити.

Правда, прямых указаний на то, что, к примеру, надо поступать как Кити, а не как неверная Анна, Толстой не дает. Он как бы ждет от читателей приговора. Подсунул Анну под паровоз в виде подсказки и молчит. Не говорит, что так жить нельзя. И иногда возникает путаница: скажем, растерявшийся читатель всем сердцем любит не правильную Кити, а Анну Каренину, а в театре и кино ее мечтают сыграть все немолодые актрисы. Обломова тоже люди жалеют и помнят больше, чем Штольца. Кстати, когда Обломов умер, у его жены, кроткой женщины, Штольц отобрал обломовского сына, с целью верно воспитать, видимо. Я очень люблю роман «Обломов», а Штольца за такие штуки не одобряю, как живого. И вот Онегина любят повально все, не глядя на то, что он убийца, ленив как пень и эгоист первостатейный.

Так что и с положительными примерами все как-то не выходит у великих авторов.

Еще хуже бывает, когда в произведении нет ни единого образца правильного поведения. У Зощенко, например. Чего стоит эта история об одном зубном враче. Там есть такой абзац: «Вот значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А-а, думает, ерунда! А потом видит — нет, далеко не ерунда!.. Женихи по свету не бегают пачками».

И ни одного положительного героя в рассказе! Всё какая-то человеческая мелюзга.

Мало того, ведь и Зощенко никого не обвиняет. Не говорит гневных слов.

Чехов тоже написал много смешных рассказов, где у него действуют то девица Подзатылкина, то некто Пшикова, то Макар Балдастов.

И нигде не объяснит прямо и гневно, что это отбросы человечества...

Много лет назад, когда я писала последнее свое газетное интервью, у меня были строчки о том, что литература не прокуратура и что писатель не судья, а скорее сам подсудимый, и что в литературе важно не отвечать на вопросы, а грамотно,

корректно задавать эти вопросы.

Эти немудрящие мои слова вызвали волну негодования у тогдашних (середина 80-х гг.) критиков. Сейчас их уже никто не помнит. Литература именно что должна объяснять, писал один, воспитывать на положительных примерах! Очень кипятился.

Потом мне позвонили со смехом литературоведы и сказали, что вообще-то эти мои слова (что не надо отвечать на вопросы) еще когда, сто лет назад, буквально в той же форме написал Чехов, и это было его письмо к Суворину.

Сейчас я попыталась найти то письмо, и мне его продиктовал по телефону известный ученый, литературовед Сергей Георгиевич Бочаров, который знает всё.

Это удивительно, но Чехов приводит в своем письме именно те же литературные примеры, которыми воспользовалась я в начале своего письма!

Чехов пишет Суворину: «Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы. Но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника. В „Анне Карениной“ и „Евгении Онегине“ не решен ни один вопрос. Но они Вас вполне удовлетворяют, потому что вопросы поставлены правильно».

У меня, правда, припасена еще одна цитата, из Пушкина, что изображение заблуждений и страстей человеческих не есть преступление, «как анатомия не есть убийство». Это выражение я всегда приводила, выступая перед публикой. Теперь я редко выступаю. Теперь меня печатают, и нет нужды защищать свою работу устно. Теперь кто хочет, тот читает. В журналах, в книгах. Даже в интернете. Собственно, и это мое письмо не имеет смысла. Мои читатели и так всё понимают, а не мои читатели в объяснениях не нуждаются.

Но все-таки как удивительно, что годы идут, уже и прочли мы все, что раньше было запрещено, и газеты печатают совсем несообразные и запредельные новости с трупами, а мои исследователи остаются все те же самые. Не прощают! Говорят, чернуха у нее, ребята, а с этим ее романом просто караул. Данного автора вообще читать было трудно, а иногда тяжело и даже невозможно! А тут вообще. Как бы обращаясь к читателям: да бросьте вы с ней мучиться. Нашли, тоже мне...

Некоторые письменно подозревают, что я еще хуже своих героев. Какой-то монстр безжалостный. Или больная она, что ли? После нее, горячо сказала одна старушка, рожать не хочется.

И даже мои сказки (все как на подбор с хорошими концами) их не веселят. Чернуха и есть чернуха!

(Мои товарищи по студии как-то раз обозлились и ответили

на это: «А что, краснуха лучше?» Дело происходило еще в СССР, где красный цвет царил повсеместно, в том числе и в искусстве. Сейчас в основном господствует желтуха, желтая печать.)

И мой жалкий лепет оправдания, что новелла — это такой вообще-то всегда был печальный жанр, трудноватый, этот мой ответ не принимается во внимание. Невозможно ее читать, и всё!

Как будто их кто заставляет брать мои книжки!

Тут еще одна мне позвонила женщина: «Как же вас тяжело читать!» — «Да вы и не читайте меня». — «Да, а кого же?»

Читайте Толстого, Гоголя, Бунина, Леонида Андреева, читайте Платонова, Чехова, читайте Тургенева. Учитесь читать-то.

Вот знаменитое «Муму», горе и злосчастье всех советских младших школьников. Это вовсе не о крепостном праве. Это «Муму» так пристегнули к программе некрасы-невзоры, немилы-неверы, составители школьной программы в советские времена, чтобы дети знали, что социализм победил окончательно и у нас такого не бывает, а возврат в темное крепостное прошлое нежелателен, будешь глухонемым, да еще у тебя отберут девушку и заставят утопить собачку. На самом деле «Муму» о другом. Не буду говорить о чем, каждый поймет его по-своему, если рассказ этот исчезнет из школьной программы и попадет взрослому человеку. Сюжеты-то повторяются. Потому что насилие судьбы над человеком повторяется.

У людей заболела любимая собака. Их гордость. Растили со щенков. Они ее уложили в машину и отвезли в лес. Всё. Муж был солидный работник, жена тоже. Уколы, врачи, ночи без сна — это все они себе представили — и увезли. И оставили там несчастную свою овчарку парализованную. Я слышала их рассказ в гостях об этом. Мы должны были посочувствовать бедным хозяевам, каково им это пришлось. Потому что получалось так, что они всё гонят от себя образ умирающей, выращенной своими руками собаки, которая лежит одна в лесу ночью, а она уже ползти не может... Ни воды, ни корочки хлеба. Вороны клюют...

Такая помесь «Муму» и «Спать хочется», другого ужаса школьной программы.

Одна женщина (это уже другой мой Вам рассказ), разведенная, с двумя девочками, очень небогатая, забеременела случайно. Надеялась, может быть, на брак, но не вышло. Хотела сделать аборт, а тут удача: подвернулась горячая путевка, почти бесплатная, на юг, и женщина уехала, а через месяц уже был большой срок, все врачи отказывались или просили немислимые деньги, и наконец бедная женщина нашла одного бродягучельдшера, девочек отвезла к подруге, фельдшер сделал ей укол,

да и сбежал, когда начались схватки. Она родила пятимесячного мальчика, тот начал пищать. Что делать? Вынесла его в другую комнату, распахнула окно, а был холод уже. Пока полы отмывала от крови, ребенок все пищал захлебываясь, потом умер. Она снесла сверток на Ваганьково, положила внутрь кучи сухих венков. Поползла в церковь, заказала панихиду. И — внимание — с тех пор рассказывает всем эту свою историю. Бабы от нее уже шарахаться начали. Меня предупредили, поскольку она должна была прийти, принести какую-то важную бумажку. Сказали, что она не может видеть маленьких. У меня тогда четырехмесячный Федя в пеленках на тахте болтался, она пришла, тут же его нашла, встала на колени перед ним и поцеловала пеленку...

Еще один вид упрека в мою сторону: «Что вы хотели сказать этим произведением?» Американцы так прямо после каждого спектакля «Чинзано» в штате Кентукки, г. Луисвилль, выйдя на перекус, возвращались, усаживались и спрашивали: «Уот из йор мессидж?» Т. е. в чем тут у вас идея? Любознательный народ, создатели фастфуда в виде жареных цыплят, кентакки чикен. Другие, более начитанные, в основном университетские педагоги, подходили с другого боку: «А где ваш положительный герой? Ваши идеалы?»

Приходилось отговариваться какими-то пустяками типа: «Мой положительный герой сидит в зале, это зрители». — «А почему?» — «Да так... Если сто человек вместе смеются, значит, они все сразу что-то поняли. Если они поняли — значит, они умные и с чувством юмора. И значит, они между строк прочли то, что автор хотел сказать». — «А что вы хотели-то сказать?» — «Вот то, над чем вы, придя домой, будете думать». — «Ну а как же читатели?» — «И читатели понимают, не беспокойтесь. Если бы читатели не понимали своих писателей, тиражи бы не допечатывались уже в какой раз, и пиратские книги бы не выходили».

Да, забыла сказать: писатель ведь только тогда существует, когда у него есть читатели. Есть и обратные примеры, когда человек не догадывался о том, что он писатель — например, Кафка, мелкий служащий, который завещал сжечь все свои несчастные рукописи, а его друг не послушался и напечатал их... Но это бывает редко. Кафка требует размышлений, и вполне могло оказаться, что не нашлось бы никого, кроме этого самоотверженного его приятеля, чтобы читать эти долго доходящие до ума тексты.

А есть литература, которая как раз предназначена для того, чтобы временно не думать. Выключиться. Это тоже важно. Что-то

типа медитации. Не сидеть в позе лотоса и не повторять ртом «ум», как мелкий карп в аквариуме, а читать Агату Кристи или Кларка. Или наших. «Победа Психбольного». «Психбольной выходит на тропу». Прочел — время прошло, как не было. Для некоторых это счастье. Я говорю серьезно. Когда бессонница, проблемы, когда горе. В этом состоянии, если жизнь загнала в тупик, такая литература (или музыка туктуктуктук, как выведенный на динамик пульс футболиста перед воротами), или мыльные оперы, или компьютерные игры как снотворное на ночь — это важно. Многие оглушают себя разными способами, как рыбу — всплыть кверху брюхом и всё. Чем скорей, тем лучше.

Но некоторые иногда думают, любят думать. Вот, собственно, для таких моментов существует чтение. Думающему чем сложнее дать задачу, тем он будет благодарнее.

И в театр люди ходят по разным поводам: одни забыть — другие вспомнить.

И для таких людей факт не так важен (описанный Пушкиным, Лермонтовым, Шекспиром), как важно поразмышлять. Побеседовать с собой. Примерить ситуацию на себя. Что-то решить.

У меня есть и такие читатели, которые не решают проблем, а просто им подходит способ рассказа. Им, допустим, кажется, что это поэзия, все эти мои страшные случаи. Об этом иногда даже пишут в газетах статьи. И этим людям я благодарна.

* * *

Недавно ко мне подошла одна милая дама, врач-психиатр из Лондона, и сказала, что она будет теперь моя ученица по драматургии, и какой первый совет я ей могу дать. (И сюжет, кстати, заодно.)

Сюжет я ей дала сразу, мама вышла замуж. Все разрабатывали эту тему, начиная с Эсхила и вплоть до Шекспира и Вампилова. Тема неисчерпаемая.

— А вот совет, совет дайте, — твердила дама.

Она была немного пьяненькая. Все присутствующие были слегка под этим делом. Мы отмечали открытие выставки недавно умершего замечательного художника М. Рогинского. Дело происходило в чужой мастерской.

Уйти от ответа на ограниченной территории не представлялось возможным. Схватить в охапку пальто и шапку значило обидеть ни в чем не повинного ослабевшего человека, к

тому же врача. К тому же когда-то она пригласила нас всех в Лондон и объявила, что это фестиваль «Женщины России».

Я собрала все свои силы и сказала:

— Проблема должна быть неразрешимая!

— Че? Простите, че? — пролепетала врач.

— У вас в пьесе должна быть неразрешимая проблема!!!

Моя будущая ученица дрогнула и отошла.

Так сама собой сформулирована оказалась главная причина, по которой пишутся пьесы, — есть неразрешимая проблема, и она таковой и останется, чтобы режиссерам и зрителям было над чем подумать.

И в который раз я попытаюсь объяснить, что каждый жанр требует своих средств выражения.

Как бывает разная погода и разное время дня — так бывают и разные жанры. Летом, в хороший денек, когда зелень и легкий пахучий ветер, когда вода блещет и наверху зависло невесомое пушистое облачко — это похоже на короткую веселую сказку. На шутку, на смешной стишок. На перековерканные словечки, которые надо складывать, чтобы понять. Это все жанр дня, жанр смешной сказки и стиха.

Уже вечером, когда лес подступает к веранде, месяц висит тяжелый, золотой, когда в темноте и сырости сладко пахнут белые табаки, а от самовара тянет смолистым дымком, — это уже может быть другая сказка, длинная и интересная. Сказка на ночь, с приключениями, горестями, но всегда с победой в конце.

Потому что этот жанр — сказка — он всегда требует хорошего конца.

Другое дело такой жанр, как новелла. Есть новелла лирическая, «Дом с мезонином» Чехова, есть новелла и лирическая и комическая, как у О'Генри. Все это — как хороший вечер на веранде, веселая беседа с друзьями, разговор с милым человеком, расставание, отъезд, может быть, навсегда.

Но настоящая новелла — это жанр тяжелого сна. Она как удар под дых. После нее долго опоминаешься. После нее надо вспоминать и думать. Она застревает в памяти и не уйдет никогда, становится фактом вашей жизни. Великие новеллы XX века — «Легкое дыхание» Бунина, «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева, который мне много раз снился, и моя бабушка, выходя из фургона на казнь, повязывала всем платочки на шею и крепко целовала... «Весна в Фиальте» Набокова, «Возвращение» Платонова. Новелла редко кончается хорошо, такой жанр. Она вызывает слезы.

Роман не кончается ни хорошо, ни плохо, он длится как жизнь, этот жанр подробен, в нем устраиваешься удобно и потом можешь читать хоть кусками. Его и пишут долго, иногда убивая себя, как убил себя Марсель Пруст непосильной для больного человека работой, написав великую и самую трудную книгу XX века «В поисках утраченного времени». Как истощил себя Булгаков, работая до последнего над «Мастером и Маргаритой». Как Джойс — он долгие годы диктовал свой заключительный роман «Поминки по Финнегану», совершенно непонятные тексты. Джойс ослеп окончательно над этим своим трудом и вскоре умер.

Попробуйте составить фразу, не значащую ничего. Не выйдет. Я как-то вставила в свою пьесу «Бифем» такие тексты. Но они просто обозначали помехи в микрофоне, неразборчивость. А Джойс написал целый роман!

Или вот есть драма. В жанре драмы самое важное, как ни странно, чтобы зритель смеялся на спектакле — почти до конца. В конце надо дать ему поплакать. Вот этот жанр драматургии — трагикомедия или даже комическая трагедия — его нельзя написать подзаголовком. Скажем, драматургическое произведение «Сны в саду пустяков», а в скобках «трагикомедия». Потому что если это трагикомедия, то это не жанр, а удача. Получилось — жанр, а не получилось — извините, какая там трагикомедия, если зрители, не всколыхнувшись ни разу, пошли домой как были, с новыми ощущениями в виде бутылки «Пепси» и подозрительного театрального пирожного в животе?

А какие бывают, допустим, жанры у ночи? Некоторым людям ночь дана для крепкого сна, другим — для пира и прогулок, третьим — для воспоминаний, ненаписанных писем и слез, четвертым — для тайных и нехороших промыслов, для греха.

Жанр крепкого, интересного сна я бы определила как длинный роман, жанр пира и прогулок — как комедию (часто с переходом в историю болезни или милицейский отчет), жанр тайных промыслов — сами знаете, это как криминальное чтиво или род порнухи и игривых статей в мужских журналах.

Но любовь, воспоминания и слезы — это уже новелла.

И оставьте каждому жанру свое. Все они поместятся на книжной полке.

А вот как обойтись писателю, который заплакал, написав свой рассказ о любви? Как ему утешить себя? Чем успокоиться?

Имелся у меня такой метод, когда они все были маленькие. Надо просто рассказать детям (Кузе, Мышепотаму, Уте, Мыши и мальчику Поросенку Петру Первому, а также тому Кенгуренку, который пока сидит в сумке) — рассказать им на ночь сказку! А потом, утром, если получится, записать эту сказку и — когда-

нибудь — опубликовать...

Но вот читатель — он не помнит добра, не помнит сказок. В его бедном сердце, как шип, торчит прочитанная новелла или увиденная пьеса. И читатели горько упрекают автора, не прощают ему, помнят... Иногда долго.

Спасибо им.

Остаюсь Ваша Людмила Петрушевская